

5667

Е. Воскресенскій.

Литературныя чтенія.

Пушкинъ. — Гоголь. — Бѣлинскій.

15 коп.

8(с)р
в 7б



Издание К. И. Тихомирова,
Комиссiонера Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства
Московской Комиссiи по устройству народныхъ чтенiй.
Магазинъ: Москва, Кузнечкiй Мостъ.
МОСКВА. — 1901.

5469

Возвратите книгу не позднее
указанного здесь срока.

32423/
1/12

10.12
1950

№ 240

891
В 76

Литературная

читанія.

Публикация — Точном — Ближнем

111

2

Е. Воскресенскій.

891
B-76

891
B-76

Литературныя чтенія.

Пушкинъ. — Тоголь. — Бѣлинскій.

5469
4

+

Цена 45 коп.

5469

0

8



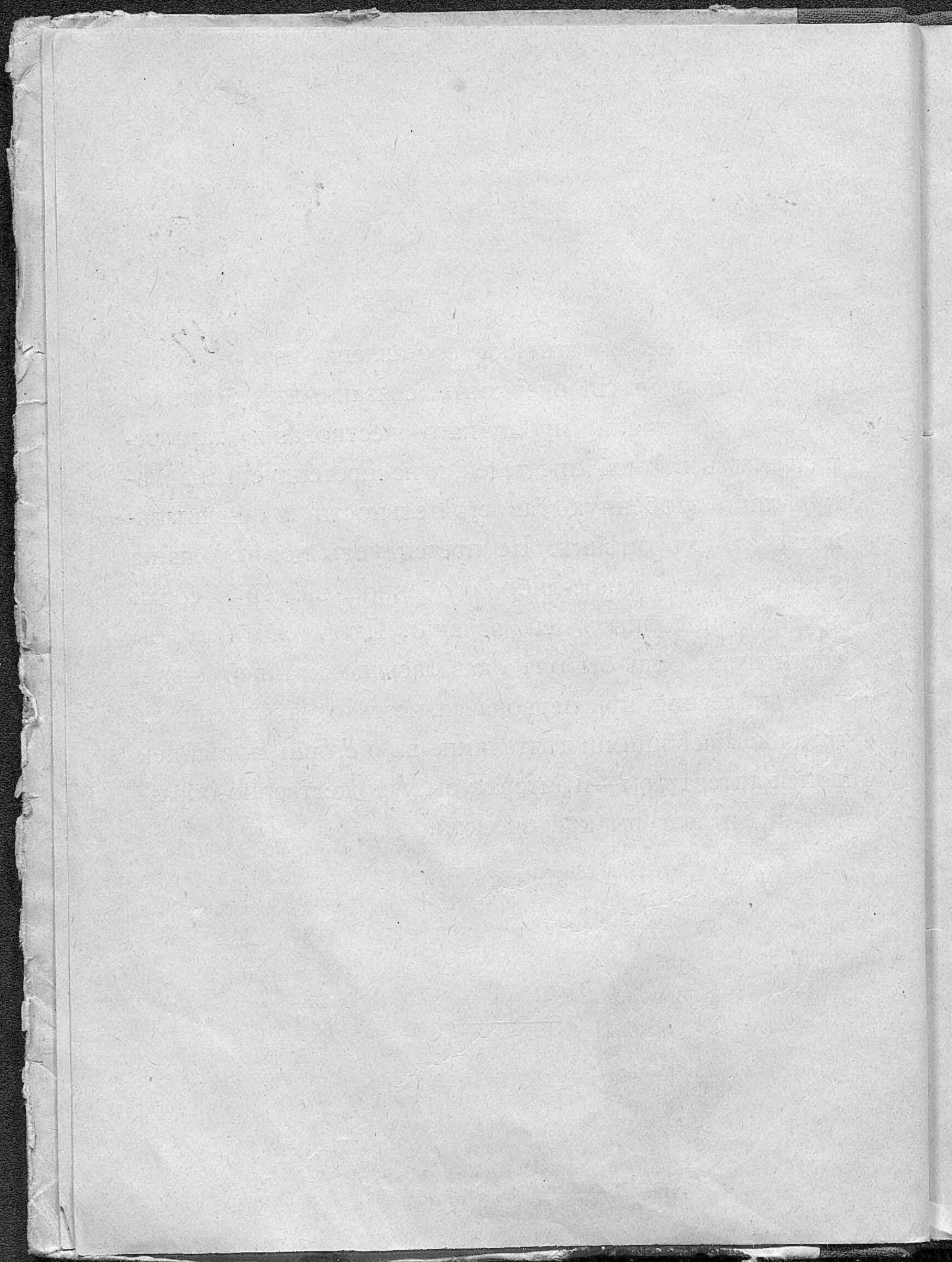
Издание К. И. Тихомирова,
Комиссiонера Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства и
Московской Комиссiи по устройству народныхъ чтенiй.

Магазинъ: Москва, Кузнецкiй мостъ.
МОСКВА.—1901.

Дозволено цензурою. Москва, 13 февраля 1901 г.

МОСКВА.
Типо-литографія А. В. Васильева и К^о. Петровка, домъ Обидиной.
1901.

Предлагаемая книжка составлена изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ очерковъ, связанныхъ, большею частью, со днями публичнато чествованія характеризуемыхъ въ ней писателей, и не претендуетъ на какую-либо особенную самостоятельность и оригинальность въ ихъ оцѣнкѣ. Не претендуетъ поэтому наша книжка и на какое-либо особенное значеніе среди другихъ подобныхъ ей изданій. Цѣль ея была бы достигнута, если бы она оказалась, по крайней мѣрѣ, не бесполезной при первоначальномъ ознакомленіи съ тремя главнѣйшими дѣятелями въ исторіи новѣйшей нашей литературы—и литературы художественно-образной, и литературы критической.



I.

А. С. Пушкинъ

(Читано 29 января 1887 г. и 29 января 1897 г.).

1. Общественная жизнь народа, его духовныя стремленія, взгляды и воззрѣнія на существо природы и человѣка, міра и жизни—всегда, болѣе или менѣе ясно и полно, выражаются въ литературныхъ произведеніяхъ этого народа и особенно въ его поэзіи, въ типическихъ и идеальныхъ ея образахъ. Такимъ образомъ по самому существу литература и вообще словесность находится въ самой тѣсной связи съ жизнью народа, особенно, если она возникаетъ и развивается совершенно самостоятельно. Но условія внѣшней жизни народа часто бываютъ таковы, что литература, возникающая у народа неразвитаго и попадающаго подъ вліяніе уже сложившейся культурной и политической силы, получаетъ характеръ *подражательный*—проводитъ въ своихъ произведеніяхъ заимствованныя у другого народа идеи и пользуется для этого заимствованными формами, иногда совершенно чуждыми народному духу. Такое явленіе можно встрѣтить не разъ во всеобщей исторіи литературы; подражательнымъ характеромъ—въ общемъ—отличается и русская литература почти до самаго Пушкина.

Сначала русская жизнь, а вмѣстѣ съ нею и литература, подпали подъ сильное вліяніе Византіи (XI—XVI вв.); затѣмъ стало обнаруживаться на нашей

жизни и литературѣ западно-европейское вліяніе въ формѣ схоластики, ложноклассицизма, сентиментализма, романтизма, байронизма. Только благодаря дѣятельности Пушкина наша литература вполне освобождается отъ подражательности и принимаетъ вполне самобытное—національное и жизненное направленіе какъ со стороны формы, такъ и по содержанію своихъ произведеній *).

*) Слѣдуетъ, впрочемъ, при этомъ имѣть въ виду, что и до Пушкина, при всей силѣ иноземныхъ вліяній, почти никогда русская литература не прерывала совсѣмъ связи съ жизнью и почти всегда стремилась, хотя бы и въ чуждыхъ ей формахъ, выражать русскую жизнь,—то, что въ ней происходило, и то, къ чему стремились и чего желали русскіе люди,—иначе говоря, русская литература въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ всегда была литературой національной и жизненной. Недоставало только большей части этихъ произведеній полного изящества, красоты, полной гармоніи между формою и содержаніемъ—того, однимъ словомъ, что называется художественностью въ произведеніи, и что, конечно, никакой литературѣ не дается сразу, вдругъ, а требуетъ всегда многовѣковой работы цѣлаго ряда писателей надъ языкомъ и слогомъ словесныхъ произведеній, ихъ литературными формами, техникой стиха и прозы и т. п. Достичь всего этого и прочно утвердить въ нашей литературѣ начало эстетическое удалось тоже только Пушкину, и въ этомъ заключается другая важная его заслуга въ исторіи русской словесности.

Мы не остановимся на литературѣ допетровской, которая по преимуществу развивалась подъ вліяніемъ византійскимъ и схоластическимъ, и которая, однако, представляетъ такіе образцы глубоконаціональных произведеній, какъ, напр., великолѣпное „Слово о Полку Игоревѣ“ или Лѣтопись Нестора, подобной которой нѣтъ у другихъ народовъ,—и скажемъ только нѣсколько о литературѣ послѣпетровской, когда окончательно упрочилось на ней западно-европейское вліяніе.

Со времени Петра I къ намъ проникаетъ ложноклассическое направленіе—подражаніе формамъ древнихъ—греческихъ и римскихъ—классическихъ образцовъ и исканіе общечеловѣческихъ идеаловъ въ классическомъ прошломъ (ложно понимаемомъ). Это направленіе выразилось у насъ сначала слабо—въ сатирахъ Кантемира, затѣмъ сильнѣе въ соч. Тредіаковского и, наконецъ, вполне устанавливается при Ломоносовѣ и Сумароковѣ. Но оно не помѣшало отразиться на русской литературѣ постоянному ея стремленію — стремленію къ изображенію тѣхъ или другихъ сторонъ русской жизни. Таково содержаніе сатиръ Кантемира, Сумарокова, не говоря уже о комедіяхъ

Вначалѣ иноземныя вліянія обнаружили свое дѣйствіе и на дѣятельность Пушкина. Вначалѣ въ поэзіи Пушкина нашли себѣ выраженіе и ложноклассицизмъ, и западный романтизмъ, и западная такъ называемая „легкая поэзія“; между произведеніями Пушкина начала его поэтической дѣятельности мы находимъ подражанія французскимъ писателямъ — Парни, Грекуру, Вержье, изъ русскихъ — Державину, Жуковскому, Батюшкову. Но выдающуюся роль среди русскаго общества онъ сталъ играть лишь со времени созданія *поэмъ* въ духѣ поэзіи Байрона; мрачное на-

яхъ Сумарокова, Капниста, Фонвизина, Екатерины II; таково также содержаніе одъ Державина, сатиръ Димитріева, Крылова; въ концѣ XVIII вѣка начинаютъ пріобрѣтать значеніе и памятники народной словесности.

Ложноклассицизмъ въ западно-европейской литературѣ уступилъ въ концѣ XVIII вѣка свое мѣсто сентиментализму, представляющему собой реакцію противъ ложноклассицизма. Онъ требовалъ отъ литературы сближенія съ простой жизнію, съ природой, видѣлъ въ этомъ необходимое условіе для осуществленія своихъ идеаловъ и былъ проникнутъ чувствительностью. У насъ это направленіе нашло себѣ, главнымъ образомъ, выразителя въ лицѣ Карамзина; ложноклассицизмъ, впрочемъ, и при немъ еще не потерялъ своего значенія и продолжалъ вліять сильно, по крайней мѣрѣ, на форму произведеній многихъ изъ нашихъ писателей; но, съ другой стороны, на ряду съ сентиментальными и ложноклассическими произведеніями мы встрѣчаемся въ это время и съ такими глубокожизненными и оригинальными, какъ большинство басенъ Крылова, комедія Грибоѣдова, проникнутыя реализмомъ стихотворенія Батюшкова. Сентиментализмъ смѣнился на западѣ романтизмомъ, искавшимъ національнаго идеала въ національномъ прошломъ (ложно понимаемомъ). У насъ романтизмъ выразился, главнымъ образомъ, въ переводахъ и передѣлкахъ западно-европейскихъ романтическихъ произведеній (Жуковский) и вызвалъ русскій романтизмъ — идеализацію русскої старины, тоже плохо тогда извѣстной. Но это направленіе не успѣло развиться (Рылѣевъ) и уступило свое мѣсто байронизму, вліянію англійскаго писателя Байрона, отрицавшаго смыслъ и значеніе европейской цивилизаціи, разочарованно смотрѣвшаго на ея идеалы и искавшаго удовлетворенія своимъ духовнымъ запросамъ въ природѣ, нетронутой европейцемъ, въ жизни дикихъ горцевъ, независимыхъ и гордыхъ дѣтей природы. Проявившись сначала у насъ въ сочиненіяхъ писателей, очень далеко стоявшихъ отъ Байрона (напр. у Козлова), байронизмъ затѣмъ нашелъ себѣ болѣе полное выраженіе въ поэзіи Пушкина.

строение послѣдняго нашло себѣ живой отголосокъ и въ мрачно настроенной въ то время душѣ изгнанника Пушкина и весьма замѣтно отразилось на многихъ его произведеніяхъ 1820—24 гг. Но извѣстно, что Пушкинъ далеко не вполне слѣдуетъ Байрону въ самомъ существенномъ—въ изображеніи характеровъ героевъ и героинь, уклоняясь въ сторону реального изображенія русской жизни. Кавказскій плѣнникъ, Гирей, Алеко не всегда поступаютъ какъ бы слѣдовало поступать разочарованнымъ во всемъ и всегда героямъ Байрона, а скорѣе какъ русскіе слабовольные люди, не всегда послѣдовательные въ своихъ поступкахъ.

Въ послѣдующихъ произведеніяхъ Пушкинъ окончательно освобождается отъ подражательности и даетъ русской литературѣ вполне самобытное направленіе, уничтоживъ навсегда въ ней и выпренный высокопарный тонъ ложноклассицизма и тоскливую таинственную романтику. Къ реальному изображенію русской жизни, почти всегда стремилась русская литература и до Пушкина, но въ этихъ изображеніяхъ не хватало художественности, свободного творчества, которое стѣснено было вліяніемъ того или другого иноземнаго направленія. Пушкинъ далъ русской литературѣ художественность, красоту, прочное начало эстетическое и, художественно изображая русскую дѣйствительность, вполне и навсегда устанавливаетъ въ литературѣ тотъ глубокій реализмъ, который становится съ тѣхъ поръ господствующей чертой ея, источникомъ ея дальнѣйшихъ успѣховъ и современнаго европейскаго значенія. Съ другой стороны, изяществомъ своихъ произведеній Пушкинъ могущественно содѣйствовалъ пробужденію въ массѣ русскаго общества сочувствія къ поэзіи и вообще къ литературѣ, которое до тѣхъ поръ было весьма слабо; произведенія Пушкина, по словамъ Пыпина, приумножили, сравнительно съ прежнимъ положеніемъ дѣла, въ десять разъ число лицъ, которыя ста-

ли интересоваться литературой и чрезъ это дѣлаться способными къ воспріятію высшаго нравственнаго развитія. Пушкинъ самъ прекрасно понималъ это достоинство литературныхъ произведеній и первый возвелъ у насъ литературу въ достоинство національнаго важнаго дѣла. Онъ былъ первымъ поэтомъ, который сталъ, въ глазахъ всей русской публики, на то высокое мѣсто, какое долженъ занимать въ своей странѣ великій писатель.

До Пушкина и общество и сами писатели не особенно высоко ставили поэзію и занятія ею. Державинъ въ своей „Фелицѣ“ какъ бы извиняется предъ Екатериной, что пишетъ стихи, будучи убѣжденъ, что поэзія сама по себѣ довольно пустая забава, которая можетъ быть пріятна, сладостна, полезна, но не болѣе, какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ. Димитріевъ въ своей сатирѣ говоритъ, что цѣль многихъ нашихъ писателей—„единственно награда перстенькомъ, иль лишнихъ сто рублей, иль дружество съ князькомъ“. Невысоко стояли въ общественномъ мнѣніи и сами писатели, особенно шиты—стихотворцы.

Идеальная высота взглядовъ Пушкина на поэта и поэзію, его собственная жизнь и дѣятельность, свободная отъ какого-либо пристрастія, корыстныхъ или честолюбивыхъ цѣлей, поэзія, полная живой прелести стиховъ, добрыхъ чувствъ и возвышенныхъ мыслей,—впервые заставили русское общество преклониться предъ искусствомъ и его служителемъ, признать его силу и высокое значеніе въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія человѣка, возникновенія и развитія въ немъ изящно-гуманныхъ чувствъ и настроеній.

„Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный,
„Къ нему не заростетъ народная тропа!“
Такъ цѣль поэтъ, Боянъ нашъ чудотворный,
Когда вокругъ него завистниковъ толпа
Плоды высокихъ думъ безсмысленно топтала,
И съ злобою тупой ихъ славу отвергала.

Да! То были вѣщія слова, могучее сознанье,
Сознанье генія въ избыткѣ гордыхъ силъ,
То заповѣдь была, святое завѣщанье...
Полвѣка ужъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ нѣтъ поэта.
Какъ палъ безвременно онъ жертвой роковой
Бездушной клеветы испорченнаго свѣта...
Но дышитъ между насъ онъ славою живой...
— И пробѣгутъ года и протекутъ столѣтья,
Но имя Пушкина вѣка переживетъ:
Изъ пѣсенъ чудныхъ онъ сплеталъ вѣнецъ безсмертья,
И свято тотъ вѣнецъ потомство сбережетъ.
Орломъ онъ съ высоты взиралъ на всю природу,
Онъ Русь свою постигъ. Преданья старины
Народнымъ языкомъ рассказывалъ народу...
Онъ мыслью пережилъ *все* страсти и волненья:
Великаго Петра великія мечты,
Отрепѣва обманъ, Мазепы преступленья,
Жуана тщетное исканье красоты,
Мученья адскія Бориса Годунова,
Сальери ненависть, Онѣгина любовь,
Надъ грудой золота терзанія скупого,
Цыгана дикаго разнузданную кровь!
Онъ *все* прочувствовалъ, во все онъ вникъ душою:
Съ Кавказскимъ плѣнникомъ томился и скучалъ,
Съ Черкешенкой онъ плакалъ молодою,
Съ своей Зарею безумно ревновалъ!..
Съ безумцемъ бредилъ онъ, грозясь и проклиная,
Предъ Мѣднымъ всадникомъ надъ бѣшеной рѣкой;
Съ Татьяной томною мечтательно вздыхая,
Признаніе писалъ дрожащею рукой.
Онъ прелесть находилъ на сѣверѣ угрюмомъ,
Въ прозрачномъ сумракѣ задумчивыхъ ночей,
У Финскихъ береговъ, гдѣ море плещетъ съ шумомъ,
Гдѣ ночи коротки, гдѣ солнце безъ лучей.
Онъ обезсмертилъ *все* безсмертными стихами:
Украинскую ночь, державную Неву,
И Бессарабію съ зелеными степями,
И моря южнаго густую синеву,
Природу скудную російской деревушки,
Убогость бѣдныхъ юртъ, и внутренность шатра,
И келью скромную, и розказни старушки,
Съ которой проводилъ онъ вечера...

(Изъ стих. *Львовой*—на открытіе памятника Пушкину въ Москвѣ).

Таковы тѣ разнообразные предметы, которые вдохновляли Пушкина, прежде всего, однако, пѣвца русской дѣйствительности, русской природы и жизни,— пѣвца, умѣвшаго находить въ этой жизни и природѣ и красоту и увлекательную силу. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ мы видимъ, Пушкинъ былъ геній всеобъемлющій, одинаково легко проникавшій и въ близкую ему современность, и въ далекія и чуждыя эпохи, жизнь и нравы... Пушкинъ былъ геній,—все любившій, все въ самомъ себѣ вмѣстившій—сѣверъ, западъ и востокъ,— какъ говоритъ о немъ Полонскій.

Что представляетъ собою для Италіи Дантъ, для Испаніи — Сервантесъ, для Англіи — Шекспиръ, для Германіи — Гете и Шиллеръ,—словомъ, что другіе народы считаютъ у себя каждый самымъ великимъ въ своихъ національныхъ литературахъ, для насъ до сихъ поръ составляетъ Пушкинъ, пока высшій и самый полный представитель русскаго генія въ области поэтическаго творчества. Въ Пушкинѣ почти закончилось развитіе нашего языка, почти завершилось расширение кругозора нашей поэзіи, и въ извѣстномъ отношеніи вся дальнѣйшая русская литература можетъ быть разсматриваема, какъ развитіе зачатковъ положенныхъ Пушкинымъ, не исключая и Гоголя.

Правильное отношеніе къ русской дѣйствительности Пушкинъ нашелъ и воплотилъ по преимуществу въ произведеніяхъ послѣдняго періода своей дѣятельности; въ нихъ онъ указалъ приемы, посредствомъ которыхъ можно возводить въ поэзію эту дѣйствительность, не прикрашивая ея, не измѣняя ея и не переодѣвая, какъ бывало прежде. Эти произведенія главнымъ образомъ дѣлаютъ понятнымъ и тотъ взглядъ, по которому всѣ почти послѣдующіе выдающіеся писатели могутъ быть въ извѣстномъ смыслѣ сведены на Пушкина: въ Пушкинѣ всегда можно найти ту струну, ту сферу чувства и пониманія, которая впо-

слѣдствіи составляла особенность извѣстнаго писателя, была имъ спеціально разрабатываема. Зачатки Гоголя—„Гробовщикъ“, Островскаго—„Борисъ Годуновъ“, Некрасова—стих. „Румяный Критикъ“, Достоевскаго—„Станціонный смотритель“, С. Аксакова, Л. Толстого—„Капитанская дочка“. Указываемъ на самыхъ оригинальныхъ писателей, внесшихъ въ литературу, повидимому, совершенно новые элементы, сказавшихъ совершенно „новое слово“.

Но, несмотря на такое значеніе послѣдняго періода дѣятельности Пушкина, онъ до послѣдняго времени менѣе всего обращалъ на себя вниманіе нашей критики, начиная съ Бѣлинскаго, который пушкинскія повѣсти, написанныя въ послѣдній періодъ дѣятельности Пушкина, ставилъ ниже повѣстей Карамзина (т. VIII, 697 стр.), и который въ другомъ мѣстѣ (т. VI), считаетъ же возможнымъ утверждать, что „смерть застигла Пушкина въ порѣ полного развитія необъятныхъ силъ его творческаго духа, въ ту самую минуту, когда онъ уже началъ уходить отъ волнующей юную и пылкую натуру внѣшности и погружаться въ бездонную глубь своего внутренняго я, когда онъ только что начиналъ писать настоящимъ образомъ. Всѣхъ опредѣленнѣе и глубже взглянулъ на послѣдній періодъ дѣятельности Пушкина Аполлонъ Григорьевъ, извѣстный, между прочимъ, своимъ ученіемъ о „жизненныхъ силахъ“ или „вѣяніяхъ“.

„Пушкинъ — наше все,—говоритъ Григорьевъ въ своихъ статьяхъ о Пушкинѣ (см. его соч. т. I), — „Пушкинъ — представитель всего нашего душевнаго, особеннаго, такого, что остается нашимъ душевнымъ, особеннымъ послѣ всѣхъ столкновений съ чужимъ, съ другими мірами. Пушкинъ—пока единственный полный очеркъ нашей народной личности, самородокъ, принимавшій въ себя, при всевозможныхъ столкновенияхъ съ другими особенностями и организмами, — все то,

что принять слѣдуетъ, отбрасывавшій все, что отбросить слѣдуетъ, полный и цѣльный, но еще не красками, а только контурами набросанный образъ народной нашей сущности,—образъ, который мы долго еще будемъ отѣнять красками“. И до Пушкина и послѣ Пушкина мы въ сочувствіяхъ и враждахъ постоянно пересаливали: въ немъ одномъ, какъ нашемъ единственномъ геніи, заключается правильная, художественно - нравственная мѣра, мѣра уже дознанная, уже окрѣпшая въ различныхъ столкновеніяхъ. „Пушкинъ не былъ ни славянофиломъ, ни западникомъ,—онъ былъ просто русскимъ человѣкомъ, какимъ сдѣлало русскаго человѣка соприкосновеніе съ сферами европейскаго развитія“. Съ этой точки зрѣнія Григорьевъ видитъ въ дѣятельности Пушкина три періода. Относительно перваго (*подражательнаго*) критикъ говоритъ: „Пушкинъ долго носилъ въ юности мутночувственную струю ложноклассицизма (эпоха лицейскихъ и первыхъ послѣ лицейскихъ стихотвореній). Эта мутная струя въ послѣдствіи очистилась у него до наивнаго пластицизма древности. И въ этомъ отношеніи, какъ онъ самъ, такъ и все, что пошло отъ него по прямой линіи (Майковъ, Фетъ въ ихъ антологическихъ стихахъ), умѣли уберечься въ границахъ здраваго, яснаго смысла и здраваго, достойнаго разумно-нравственнаго существа, сочувствія“. 2-й періодъ дѣятельности Пушкина (*періодъ борьбы съ иноземными вліяніями*)—„исторія душевной борьбы его съ различными идеалами,—борьбы, изъ которой онъ выходитъ всегда самимъ собою, особеннымъ типомъ, совершенно новымъ. Ибо, что, напр., общаго между Онѣгинымъ и Чайльдъ-Гарольдомъ Байрона?.. Мрачный сплинъ и язвительный скептицизмъ Чайльдъ-Гарольда замѣнился въ лицѣ Онѣгина хандрою отъ праздности, тоскою человѣка, который внутри себя проще, лучше и добрѣе своихъ идеаловъ, который надѣленъ критическою спо-

способностью здравого русского смысла и которому та же критическая способность может указать выходъ изъ ложнаго и напряженнаго положенія на ровную дорогу. Эта борьба Пушкина съ чуждыми его духу настроеніями и вліяніями очевидна „и въ геніально-юношескомъ лепетѣ „Кавказскаго плѣнника“, и въ Алеко, и въ Гирѣѣ, и въ Онѣгинѣ“, и въ отношеніяхъ Ивана Петровича Бѣлкина къ героямъ рассказываемыхъ имъ исторій. Но что вездѣ особенно поразительно, такъ это постоянная непоследовательность живой и самобытной души поэта, ея неспособность вполне подчиниться чуждому вліянію. Ясно видно, что въ немъ есть для этой души „что-то неотразимо влекущее и и есть вмѣстѣ съ тѣмъ что-то такое, чему она постоянно измѣняетъ“.

Въ 3-ю эпоху (*периодъ самобытнаго творчества*) почти любимымъ типомъ Пушкина былъ типъ Ивана Петровича Бѣлкина. Влѣзая въ кожу, принимая взглядъ Бѣлкина, Пушкинъ рассказываетъ многія добродушныя исторіи, между прочимъ, „Лѣтопись села Горохина“ и семейную хронику Гриневыхъ — эту родоначальницу всѣхъ теперешнихъ „семейныхъ хроникъ“. Какое же душевное состояніе выразилъ нашъ поэтъ въ этомъ типѣ, и каково его собственное отношеніе къ этому типу? Чтобы отвѣтить на эти вопросы, Григорьевъ сначала напоминаетъ читателю отрывки главы, невошедшей въ романъ „Евгеній Онѣгинъ“. Въ нихъ „Онѣгинъ является для насъ съ новой стороны, какъ лицо, которому, несмотря на всю прожитую бурно жизнь, все-таки *некуда* дѣвать здоровья и жизни. Да! тоскою о томъ, что много еще силъ, много здоровья и крѣпости жизни долженъ окончить Онѣгинъ, какъ отраженіе извѣстной минуты душевнаго процесса; но не одною тоскою кончаетъ живая, многообъемлющая натура самого поэта“. И, вслѣдъ за этимъ, Григорьевъ выписываетъ стихи, въ которыхъ Пушкинъ вспоми-

наеть о своихъ прежнихъ созданіяхъ и изъ которыхъ
ясенъ совершившійся въ немъ переломъ:

Въ ту пору мнѣ казались нужны
Пустыни, волнъ края жемчужны,
И моря шумъ, и груды скалъ,
И гордой дѣвы идеаль,
И безыменные страданья...
Другіе дни, другіе сны!
Смирились вы, моей весны—
Высокопарныя мечтанья,
И въ поэтическій бокаль
Воды я много подмѣшалъ.
Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косогоръ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи,
Да прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ,
Раздолье утокъ молодыхъ...
Теперь мила мнѣ балалайка
Да пьяный топотъ трепака
Передъ порогомъ кабака;
Мой идеаль теперь—хозяйка,
Мои желанія—покой,
Да шей горшокъ, да самъ большой...

„Поразительна (говорить критикъ) эта простодуш-
нѣйшая смѣсь ощущеній самыхъ разнородныхъ—него-
дованія и желанія набросать на картину колоритъ са-
мый сѣрый, съ невольною любовью къ картинѣ, съ
чувствомъ ея особенной, самобытной красоты!“... Въ
своей борьбѣ съ чуждыми идеалами Пушкинъ чувство-
валъ „минутами припадки непонятнаго влеченія къ
этой самой, повидимому, столь узкой и скудной об-
становкѣ, къ своей собственной почвѣ“. Эта любовь
къ родной почвѣ выражалась у Пушкина „то радостью
замѣтить разность между Онѣгинымъ и собою, то

мечтою о поэмѣ „пѣсенъ въ 25“ съ мирнымъ семейнымъ характеромъ, то записываніемъ сказокъ старой няньки, или анекдотовъ о старинѣ“!.. Когда поэтъ въ эпоху зрѣлости самосознанія привелъ для самого себя въ очевидность всѣ эти, повидимому, противоположныя явленія, совершавшіяся въ его собственной натурѣ,—то, прежде всего правдивый и истинный, онъ умалилъ себя, когда-то Гирея, Плѣнника, Алеко, до образа Ив. Петр. Бѣлкина. X

Но, конечно, „Бѣлкинъ для Пушкина вовсе не герой его, а просто критическая сторона души“. „Бѣлкинъ есть простой здравый толкъ и здоровое чувство, кроткое и смирное, вопіющее законно противъ злоупотребленія нами нашей широкой способности понимать и чувствовать: стало-быть, начало только отрицательное,—правое только какъ отрицательное; ибо, предоставьте его самому себѣ—онъ перейдетъ въ застой, мертвящую лѣнь, въ хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова“.

Такимъ образомъ, въ образѣ Бѣлкина Пушкинъ выразилъ какъ бы протестъ свой противъ высокопарныхъ мечтаній, противъ увлеченія мрачною и блестящею стороною жизни, „хищными“, какъ выражается Григорьевъ, типами,—протестъ въ поэтической формѣ, въ обнаруженіи поэтомъ способности умѣренно понимать и чувствовать. Будучи поэтомъ, способнымъ стать наравнѣ съ величайшими поэтами Запада по широтѣ и глубинѣ взглядовъ, стремленій и идеаловъ, Пушкинъ вдругъ спускается съ своей высоты, становится совершенно въ уровень съ той бѣдной дѣйствительностью, которая окружала его, и такъ возсоздаетъ ее въ своихъ повѣстяхъ, что каждому сразу становится понятно, что иначе, въ иномъ тонѣ и съ иными взглядами на нее, и нельзя ее изображать, не извращая и не искажая ея тѣми или другими, чуждыми ей красками—романтизмомъ, сентиментализмомъ и т. п.

Нельзя, конечно, отрицать того, что сюжеты нѣкоторыхъ повѣстей Пушкина имѣютъ анекдотическій характеръ, но въ данномъ случаѣ дѣло не въ сюжетѣ, а въ тонѣ, въ манерѣ разсказа, въ отношеніи предполагаемаго автора Бѣлкина къ дѣйствующимъ лицамъ, къ ихъ страстямъ, чувствамъ, стремленіямъ и побужденіямъ.

Поэтому, А. Григорьевъ съ полнымъ основаніемъ могъ сказать, что „всѣ простыя, не преувеличенныя юмористически и неидеализированныя трагически отношенія литературы къ окружающей дѣйствительности и къ русскому быту по прямой линіи ведутъ свое начало отъ взгляда на жизнь Ив. Петр. Бѣлкина“. Не лишено поэтому серьезнаго основанія и то мнѣніе Григорьева, по которому истиннымъ родоначальникомъ такъ называемаго *натурализма* въ русской литературѣ слѣдуетъ считать не Гоголя, какъ обыкновенно считаютъ, а Пушкина. Дѣйствительно, все *гоголевское* есть у Пушкина только въ болѣе тонкихъ, менѣе выпуклыхъ и менѣе бросающихся въ глаза cadaго чертахъ, съ большимъ спокойствіемъ изображенія. Еще Анненковъ обращаетъ вниманіе на то, что „Дубровский“ написанъ ранѣе повѣстей Гоголя изъ русскаго быта. Извѣстно также, что сюжеты самыхъ капитальныхъ произведеній Гоголя—„Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“—внушены ему Пушкинымъ. Пушкинъ „первый опускается въ простые и такъ называемые низшіе слои жизни. Въ „Гробовщикѣ“—зерно всѣхъ нашихъ отношеній къ этимъ слоямъ жизни (слова Григорьева), а въ „Станціонномъ смотрителѣ“—зерно всей *натуральной школы*“. Слѣдуетъ также обратить вниманіе на тонкій, изящный юморъ Пушкина. Гоголь по преимуществу писалъ въ юмористическомъ тонѣ, но Пушкинъ ранѣе его, и это, конечно, имѣетъ значеніе. Между соч. Пушкина своимъ юморомъ замѣчательны „Капитанская дочка“—особенно въ началѣ, „Исторія

села Горохина“, „Гробовщикъ“ и повѣсть „Станціонный смотритель“, въ началѣ, какъ и „Гробовщикъ“, отличающаяся игривымъ юморомъ: но въ концѣ ея сквозь смѣхъ уже слышатся и слезы, въ тонѣ автора чувствуются задумчивость и серьезные, грустные ноты. Эта повѣсть устанавливаетъ связь съ Пушкинымъ ужъ не только наиболѣе важной стороны дѣятельности Гоголя, но и Достоевскаго,—какъ автора „Бѣдныхъ людей“. Достоевскій самъ признавалъ своимъ непосредственнымъ и главнымъ руководителемъ Пушкина, а не Гоголя. Иронія послѣдняго—иногда жестокая и ядовитая—на правится Достоевскому, желавшему болѣе мягкаго отношенія литературы къ разнымъ и безъ того уже забытымъ, „униженнымъ и оскорбленнымъ“ людямъ. Въ „Бѣдныхъ людяхъ“ Достоевскаго дѣйствующимъ лицомъ является чиновникъ Дѣвушкинъ, очень похожій на героя „Шинели“. Знакомая его даетъ ему прочесть „Станціоннаго смотрителя“, чиновникъ очень хвалитъ повѣсть и очень сочувствуетъ бѣдному смотрителю. Затѣмъ та же знакомая посылаетъ ему „Шинель“ Гоголя. Дѣвушкинъ очень обижается, узнавъ себя въ этомъ безжалостномъ изображеніи, упрекаетъ свою знакомую, напивается пьянъ и подвергается разнымъ бѣдамъ и злосудіямъ. Такъ Достоевскій выразилъ свое отношеніе къ Пушкину и Гоголю.

Открытіе значенія Бѣлкина въ пушкинскомъ творчествѣ составляетъ главную заслугу А. Григорьева, замѣчаетъ Страховъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, это была для него исходная точка, съ которой онъ объяснялъ ходъ всей послѣ-пушкинской художественной литературы. Разсматривая новую русскую литературу съ точки зрѣнія народности, А. Григорьевъ видѣлъ въ ней постоянную борьбу европейскихъ идеаловъ, чуждой нашему духу поэзіи, съ стремленіемъ къ самобытному творчеству, къ созданію чисто русскихъ идеаловъ и типовъ. Къ чуждымъ типамъ, господствовавшимъ въ

нашей литературѣ, по мнѣнію Григорьева, принадлежитъ почти все то, что носитъ на себѣ характеръ героическаго, — типы блестящіе или мрачные, но во всякомъ случаѣ сильные, страстные — „хищные“, по выраженію Григорьева. Русская же натура, нашъ душевный типъ явился въ искусствѣ прежде всего въ типахъ простыхъ, „смирныхъ“, по внѣшности чуждыхъ всего героическаго, каковы, на примѣръ, Гриневъ, Бѣлкинъ, Максимъ Максимовичъ у Лермонтова и т. п. Борьба между этими типами въ нашей литературѣ, стремленіе найти между ними правильныя отношенія, — то развѣнчиваніе, то превознесеніе одного изъ двухъ типовъ, „хищнаго“ или „смирнаго“, началось со времени Петра Великаго и продолжается, можно сказать, до сихъ поръ, обнаруживаясь и въ дѣятельности Тургенева, и въ дѣятельности гр. Л. Толстого, Писемскаго, Островскаго и другихъ послѣ-пушкинскихъ писателей. Что же касается Пушкина, то онъ не только первый почувствовалъ вопросъ во всей его глубинѣ, не только первый вывелъ во всей правдѣ русскій типъ смирнаго и благодушнаго человѣка, но, въ силу высокой гармоніи своей геніальной натуры, первый же указалъ правильное отношеніе и къ хищному типу. Онъ не отрицалъ его, не думалъ его развѣнчивать, но и не идеализировалъ его; какъ примѣры чисто русскаго страднаго, сильнаго типа онъ выводитъ Пугачева въ „Капитанской дочкѣ“ — одинъ изъ самыхъ правдивыхъ и жизненныхъ образовъ въ поэзіи Пушкина *), русалку.

Въ исторіи русской литературы весьма важное значеніе Пушкина заключается въ томъ, что онъ, какъ уже сказано выше, первый далъ намъ художественные образцы поэтическаго воспроизведенія русской дѣй-

*) См. статью Скабичевскаго „Русскій Историческій романъ“.

ствительности, находя въ ней богатый и разнообразный для этого матеріалъ. На все онъ откликнулся, какъ звучное эхо, съ которымъ онъ сравниваетъ себя въ извѣстномъ своемъ стихотвореніи. Въ его соч. отразилась и русская природа, и русское, современное ему, общество, какъ дворяне, такъ и крестьяне, въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, и въ своей средѣ, въ отношеніяхъ отцовъ къ дѣтямъ, мужчины и женщины. Съ другой стороны, между произведеніями Пушкина мы находимъ цѣлый рядъ такихъ, которыя имѣютъ своимъ предметомъ *историческое прошлое* Россіи и знакомятъ насъ съ ея прошлою жизнью. Пушкинымъ написаны „Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ“, „Русалка“, „Борисъ Годуновъ“, „Капитанская дочка“, „Рославлевъ“. Но особенное вниманіе Пушкина, при знакомствѣ его съ русской исторіей, остановила на себѣ могучая и величественная личность великаго преобразователя ея Петра. Къ произведеніямъ, такъ или иначе характеризующимъ личность и дѣятельность этого государя, относятся: стих. „Въ надеждѣ славы и добра“, „Пиръ Петра Великаго“, ром. „Арапъ Петра Великаго“, поэмы „Мѣдный всадникъ“ и „Полтава“. Кромѣ того, въ концѣ своей жизни Пушкинъ принялся было за „Исторію“ Петра, но остановился среди работъ надъ ней, пораженный страннымъ соединеніемъ въ личности преобразователя великаго и благороднаго генія съ типомъ „бича Божьяго“.

Четырехъ историческихъ эпохъ коснулся Пушкинъ въ своихъ произведеніяхъ, и всѣ онѣ живо выступаютъ передъ нами. Вотъ предъ нами Русь Годуновская, взятая въ трагическій моментъ для ея владыки *)... Длинный рядъ лицъ проходитъ въ трагедіи „Борисъ Годуновъ“: съ одной стороны—русскіе люди, съ ихъ

*) См. мою книжку „Борисъ Годуновъ“ А. С. Пушкина, опытъ разбора трагедіи. Изд. 3-е, Москва.

простотой быта, добродушіемъ, мѣткой ироніей и смѣтливостью; съ другой — блестящіе, самоувѣренные и хвастливые поляки среди пышной обстановки своихъ замковъ и баловъ, при столкновении съ русскими. „Начиная съ русскаго величаваго пониманія властительныхъ обязанностей до блестящаго хвастовства самозванца, — съ ученическаго труда Θεодора Годунова до латинскихъ стихотворцевъ, сопровождающихъ станы литовскихъ вельможъ, — съ затворнической любви Ксеніи до хитраго кокетства Марины; начиная со способа выражать мысли, столь различнаго въ двухъ партіяхъ, до ихъ пониманія своихъ обязанностей и своего достоинства, — все это, — говоритъ Анненковъ — представляетъ удивительно яркую картину двухъ противоположныхъ цивилизацій, поставленныхъ лицомъ другъ къ другу и на минуту смѣшавшихся въ общемъ хаосѣ, порожденномъ обстоятельствами“. Безукоризненно прекрасна драма и съ внѣшней стороны. Въ ней нѣтъ быстрого и страстнаго развитія дѣйствія; но спокойный, медленный эпическій ходъ ея событій совершенно соотвѣтствуетъ духу изображаемой ею древней русской жизни. Соотвѣтствуетъ этому духу и превосходный языкъ ея, простой, изящный, на которомъ такъ видно вліяніе лѣтописей и грамотъ.

Вотъ предъ нами Русь Петровская, то въ идеальныхъ очертаніяхъ могучей дѣятельности ея творца въ „Полтавѣ“ и „Мѣдномъ Всадникѣ“, то въ типическихъ образахъ „Арапа Петра Великаго“, дающаго намъ впечатлѣніе трезвой, реальной и безпристрастной исторической правды.

Въ „Капитанской дочкѣ“ *) Пушкинъ рисуетъ намъ третью, тоже весьма важную, эпоху — царствованіе Екатерины II, взятое тоже въ драматическій моментъ, равно какъ въ „Рославлевѣ“ — царствованіе Александра I. Какъ въ „Арапѣ Петра Великаго“, такъ и въ „Капи-

*) См. разборъ этой повѣсти — Черняева. М. 1897 г.

танской дочкѣ“,—замѣчаетъ Скабичевскій въ вышеназванной статьѣ,—Пушкинъ является предъ нами не только реалистомъ вообще, но и натуралистомъ въ томъ смыслѣ, что въ обоихъ произведеніяхъ передъ нами развертывается картина жизни не какихъ-либо идеальныхъ и исключительныхъ личностей, а самыхъ заурядныхъ людей. Вы переноситесь въ обыденную массовую жизнь XVIII вѣка, и видите, какъ эта жизнь текла день за день со всѣми мелкими будничными интересами. Этимъ и отличаются историческіе романы Пушкина отъ всѣхъ послѣдующихъ изображеній XVIII вѣка, въ которыхъ жизнь, отстоящая отъ насъ не болѣе, какъ на сто или полтораста лѣтъ, рисуется предъ нами въ какомъ-то волшебномъ освѣщеніи, въ крайне рѣзкихъ очертаніяхъ дѣйствующихъ лицъ: „все это оказываются широкія, размашистыя натуры, то поражающія міръ своею роскошью и необузданнымъ мотовствомъ и разгуломъ, то приводящія въ ужасъ демоническимъ хищничествомъ, коварствомъ и эксцентричностью своихъ преступленій въ родѣ замуравливанія въ стѣны живыхъ людей или срытія цѣлыхъ усадебъ“. Нельзя сказать, „чтобы ничего подобнаго не было въ XVIII вѣкѣ; но отнюдь не изъ такихъ баснословныхъ характеровъ и ужасовъ слагалась ежедневная будничная жизнь того времени. Они были лишь выдающимися точками, исключеніями изъ уровня ея. А чтобъ понять этотъ уровень, слѣдуетъ обратиться къ Пушкину. Перенесясь за сто лѣтъ въ его „Капитанской дочкѣ“, вы отнюдь не попадаете въ какой-то сказочный міръ, а видите ту же самую жизнь, которая, катясь годъ за годъ, докатилась и до сего дня. И, дѣйствительно, вѣдь эта жизнь все та же самая, а не другая какая, особенно въ провинціальной глуши“. Вѣдь если и въ настоящее время эта глушь представляетъ собою нерѣдко картину полного застоя и однообразія, то сто лѣтъ тому назадъ она должна быть

еще однообразнѣе, монотоннѣе и неподвижнѣе. Такой именно она и изображена Пушкинымъ. Въ повѣсти мы видимъ предъ собой (слова Скабичевского) такое стоячее болото, что даже столь грозная буря, какъ пугачевскій погромъ, могла покрыть поверхность этого болота лишь едва замѣтною зыбью. Обитатели Бѣлогорской крѣпости, жившіе въ самомъ очагѣ бунта, до такой степени не знали, что дѣлается вокругъ нихъ, что когда бунтъ уже начался, и Гриневъ сообщилъ коменданту, что онъ слышалъ въ Оренбургѣ, будто на Бѣлогорскую крѣпость собираются напасть башкиры,—комендантъ отвѣчалъ: „Пустяки! У насъ давно ничего не слыхать. Башкиры—народъ напуганный, да и киргизы поучены. Небось, на насъ не сунутся; а насунутся, такъ я задамъ такую острастку, что лѣтъ на десять угомоню“. И только тогда, когда Пугачевъ пришелъ къ крѣпости и взялъ ее безъ малѣйшихъ усилій, когда на площади воздвиглись висѣлицы,—только тогда обитатели поняли, наконецъ, значеніе и ужасъ Пугачевского бунта.

Третья историческая повѣсть, неоконченная, какъ и „Арапъ Петра Великаго“, — „Рославлевъ“—тѣсно связана съ историческимъ же романомъ того же названія Загоскина. По отношенію къ этому роману „Рославлевъ“ Пушкина является какъ бы протестомъ поэта-художника во имя ходожественности и исторической правды, противъ которыхъ Загоскинъ въ своемъ романѣ допустилъ цѣлый рядъ самыхъ вопіющихъ промаховъ и вслѣдствіе незнакомства съ эпохой, и въ угоду тому узкопонимаемому патріотизму, который тогда же былъ названъ кваснымъ. Въ своемъ „Рославлевѣ“ Пушкинъ, между прочимъ, нарисовалъ такой образъ русской женщины-гражданки, подобнаго которому не было до того времени въ русской литературѣ, но который, взять, очевидно, имъ изъ дѣйствительности. Отличаясь большимъ природнымъ умомъ, княжна

Полина не находила живого содержанія въ томъ обществѣ, къ которому она принадлежала по своему рожденію и воспитанію. Сама она очень много читала и, благодаря этому, относилась къ этому обществу съ нескрываемымъ презрѣніемъ и скучала среди многочисленныхъ своихъ поклонниковъ, чувствуя умственное и нравственное ихъ убожество. Съ такимъ же презрѣніемъ отнеслась она, когда началась война съ Наполеономъ, и къ тому напускному патріотизму, который у многихъ выражался только внезапнымъ гоненіемъ французскаго языка, французскаго табаку, французскаго вина и т. п. „На бульварѣ, на Прѣсенскихъ прудахъ, она нарочно говорила по французски; за столомъ, въ присутствіи слугъ, нарочно оспаривала патріотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности наполеоновскихъ войскъ, объ его военномъ геніи. Присутствующіе блѣднѣли, опасаясь доноса, и спѣшили укорить ее въ приверженности къ врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. „Дай Богъ,—говорила она,—чтобы всѣ русскіе любили такъ свое отечество, какъ я люблю“... „Помилуй,—сказала ей однажды ея подруга,—охота тебѣ вышиваться не въ наше время. Пусть себѣ мужчины дерутся и кричатъ о политикѣ; женщины на войну не ходятъ, и мнѣ дѣла нѣтъ до Бонопарта“. Глаза ея засверкали. „Стыдись,—сказала она:—развѣ женщины не имѣютъ отечества? развѣ нѣтъ у нихъ отцовъ, братьевъ, мужей? Развѣ кровь русская для насъ чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобы насъ на балѣ вертѣли въ экосезахъ, а дома заставляли вышивать по канвѣ собачекъ? Нѣтъ! Я знаю, какое вліяніе женщина можетъ имѣть на мнѣніе общественное. Я не признаю уничиженія, къ которому присуждаютъ насъ. Посмотри *m-me de Staël*. Наполеонъ боролся съ нею, какъ съ непріятельской силой... А Шарлота Кордэ? А наша Марѳа Посадница? Кня-

гиня Д**? Чѣмъ я ниже ихъ? Ужъ вѣрно не смѣлостью души и рѣшительностью“.

Ограничиваясь общими замѣчаніями объ историческихъ повѣстяхъ Пушкина, скажемъ въ заключеніе, что всѣ онѣ отличаются своей простотой, отсутствіемъ какой-либо сложной и запутанной интриги, какъ и всѣ вообще произведенія Пушкина. Въ этомъ отношеніи онѣ являются полною противоположностью весьма многочисленнымъ произведеніямъ другихъ нашихъ историческихъ романистовъ, начиная съ того же Загоскина и Лажечникова и кончая гр. А. Толстымъ, Мордовцевымъ, Саліасомъ и др. Безъ всякихъ прикрасъ и преувеличеній онѣ рассказываютъ о прошломъ съ глубокимъ пониманіемъ его, съ геніальнымъ проникновеніемъ въ истинный духъ его и содержаніе.

Посмотримъ теперь, какъ изображаетъ Пушкинъ *современную ему русскую жизнь*. Но здѣсь, чтобы не искать у Пушкина того, чего онъ не могъ дать, и чтобы надлежащимъ образомъ оцѣнить то, что онъ далъ въ своихъ произведеніяхъ, во-первыхъ, не надо упускать изъ вида одного—существенно-органическаго, такъ сказать,—свойства духовной природы Пушкина, какъ поэта—его болѣе созерцательнаго, спокойно-объективнаго отношенія къ жизни, чѣмъ анализирующаго и критическаго. Во всѣхъ почти областяхъ жизни онъ чувствовалъ себя, какъ дома, и самыя разнообразныя явленія ея были ему одинаково доступны и съ одинаковымъ совершенствомъ воссоздавались его творческой фантазіей. Одна только область была ему менѣе близка—это та область жизни, гдѣ нѣтъ красоты. Яркое изображеніе мелочной и пошлой стороны жизни не входило въ кругъ поэзіи Пушкина. Эту задачу, какъ мы знаемъ, взялъ на себя другой великій русскій писатель—Н. В. Гоголь. Съ другой стороны, не слѣдуетъ забывать и о томъ, что наиболѣе зрѣлая и плодотворная пора творчества Пушкина прошла (въ

связи съ общимъ реакціоннымъ характеромъ эпохи) подъ самымъ тяжелымъ цензурнымъ гнетомъ, который прямо приводилъ его иногда въ отчаяніе. Если ужъ „Борисъ Годуновъ“ находился подъ запретомъ цензуры съ 9 дек. 1826 г. по 28 апр. 1830 г., если „Дубровскій“ могъ появиться въ печати только въ 1841 г., будучи написанъ еще въ 1832 г., то легко себѣ представить, какъ отнеслась бы эта цензура къ попыткѣ Пушкина въ одной яркой картинѣ охарактеризовать, напр., крѣпостное право и всѣ связанные съ нимъ печальныя явленія русской жизни. А ихъ было не мало. И Пушкину приходилось или прибѣгать къ околичностямъ, какъ, напр., въ своей статьѣ о книгѣ Радищева *), или же обрисовывать тогдашнюю русскую жизнь слегка, и даже въ шутиливомъ тонѣ. За послѣднее, какъ извѣстно, на Пушкина не разъ нападала наша тенденціозная критика, не принимая въ соображеніе ни условій времени вообще, ни фактическихъ обстоятельствъ біографіи Пушкина въ частности. Въ „Очеркѣ исторіи печатнаго пушкинскаго текста“. Якушкина („Русск. Вѣд.“ 1887 г. №№ 34, 38) находится много доказательствъ того, что Пушкинъ часто не могъ писать, даже если бы и хотѣлъ. Только принимая во вниманіе такого рода соображенія, и можно по достоинству оцѣнить тотъ матеріалъ, какой даютъ намъ для характеристики русской жизни (эпохи 20—30-хъ годовъ XIX ст.) „Евгеній Онѣгинъ“ и повѣсти Пушкина.

Эти повѣсти можно раздѣлить по содержанію на двѣ группы: къ одной изъ нихъ относимъ, во-первыхъ, „Выстрѣлъ“, „Метель“, „Барышня-крестьянка“, „Исторія села Горохина“, и затѣмъ написанныя позднѣе—„Дубровскій“, „Пиковая дама“, „Египетскія ночи“ (прозаическою частью), т.-е. повѣсти, изображающія съ разныхъ сторонъ дворянскую

*) См. брошюру В. Якушкина „Пушкинъ и Радищевъ“. М. 1886.

среду (то въ столицѣ, то въ помѣщичьихъ усадьбахъ) и тѣсно связанную въ то время съ ней средоу крестьянскую; ко второй группѣ мы относимъ двѣ повѣсти— „Гробовщикъ“ и „Станціонный смотритель“, о значеніи которыхъ говорили уже выше.

Романъ „Евгеній Онѣгинъ“ по своему содержанію довольно близко стоитъ къ первой группѣ повѣстей. Въ 3-й главѣ его Пушкинъ говоритъ:

Быть-можетъ, волею небесъ,
Я перестану быть поэтомъ,
Въ меня вселится новый бѣсъ,
И, Фебовы презрѣвъ угрозы,
Унижусь до смиренной прозы:
Тогда романъ на старый ладъ
Займетъ веселый мой закатъ.
Не муки тайныя злодѣйства
Я грозно въ немъ изображу,
Но просто вамъ перескажу
Преданья русскаго семейства;
Любви плѣнительные сны,
Да нравы нашей старины.
Перескажу простыя рѣчи
Отца иль дяди старика,
Дѣтей условленные встрѣчи
У старыхъ липъ, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слезы примиренья;
Поссорю вновь, и наконецъ,
Я поведу ихъ подъ вѣнецъ... (XIII—XIV).

На повѣсти Пушкина мы и должны смотрѣть, какъ на исполненіе, хотя отчасти, этого обѣщанія, по крайней мѣрѣ, изъ того, что онъ успѣлъ написать до преждевременной кончины своей. Главнѣйшія черты времени 20 — 30-хъ гг., насколько онѣ были подмѣчены наблюдательнымъ поэтомъ, сводятся къ слѣдующему *).

*) См. книжку В. Острогорскаго, „Очерки Пушкинской Руси“.

Во-первыхъ, какъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“, такъ и въ повѣстяхъ Пушкина, мы находимъ довольно много характернаго по отношенію къ самому запретному тогда вопросу—*крѣпостному быту* крестьянъ.

Въ „Онѣгинѣ“ мы находимъ и „нищихъ мужиковъ Гвоздина, превосходнаго хозяина, и яремъ старинной барщины“, и мальчишку-казачка, подающаго у Лариныхъ сливки, и служанокъ, которыхъ бьетъ Ларина, и которыя поютъ хоромъ, собирая въ саду ягоды— „чтобъ барской ягоды тайкомъ уста лукавыя не ѣли и пѣньемъ были заняты: затѣя сельской простоты“. Въ „Онѣгинѣ“ же мы находимъ и совершенно русскій образъ Татьяниной няни, преданной Филиппевны, когда-то вострой дѣвчонки, рабской исполнительницы всякаго слова барской воли и 13-ти лѣтъ выданной замужъ. Въ неоконченной повѣсти „Исторія села Горохина“ предъ нами цѣлая картина крѣпостной деревни, нарисованная притомъ съ необыкновеннымъ юморомъ *). Тутъ и трогательная встрѣча барчонка дворовыми, и „баснословныя времена“ Горохина, когда село было богато, а зажиточные обитатели собирали оброкъ единожды въ годъ и отсылали невѣдомо куда, на нѣсколькихъ возахъ; когда обитатели работали мало, а жили припѣваячи, и пастухи стерегли стадо въ сапогахъ. Тутъ и постепенное обнищаніе села, и безтолковый мірской сходъ, и безграмотный староста; тутъ и вѣчное взысканіе недоимокъ, и отдача бѣдныхъ мужиковъ въ батраки богатымъ, и рекрутчина, и многое другое. Не забыты поэтомъ и огромныя пустыри и болота, „гдѣ произрастаетъ одна клюква“; перечислены и естественныя произведенія села: „рожь, овесъ, ячмень, гречиха, орѣхи, брусни-

*) Съ другой стороны, замѣтимъ мимоходомъ, „Исторія“ эта представляетъ собою в. ѣдкую пародію на величаво-искусственный тонъ первыхъ главъ „Исторіи Государства Россійскаго“ Карамзина (См. Страхова „Бѣдность нашей литературы“ СПб. 1868 г.).

ка, черника и грибы, и обильный торгъ лыками, лукошками и лаптями“ и самый языкъ мужицкій, бѣдный и странный, „со всякими сокращеніями и усѣченіями“, и удовольствія—кулачные бои и пьянство; изображена и семейная жизнь, гдѣ сначала жены бьютъ своихъ тринадцатилѣтнихъ мальчишекъ-мужей, а потомъ уже „мужья начинаютъ, въ свою очередь“ бить женъ“; и похороны, въ самый день смерти покойнаго, который иногда „чихаетъ или зѣваетъ въ ту самую минуту, когда его выносятъ за околицу“; и безобразная пьяная тризна по покойникѣ. Есть въ „Исторіи“ свѣдѣнія и о мужицкой обычной одеждѣ, о наукахъ, искусствахъ и поэзіи, о народной кабацкой музыкѣ—балалайкѣ и волюнкѣ... Эта „Исторія“, написанная въ то время (1830 г.), когда у насъ еще и помина не было о простонародныхъ писателяхъ, — дѣйствительно, заслуживаетъ полного къ себѣ вниманія.

Въ повѣсти „Дубровскій“ особенно ярко обрисована помѣщичья *дворня*. Здѣсь она не только терпитъ самыя вопіющія безобразія, не только платится жестоко за малѣйшую провинность, но даже гордится своимъ положеніемъ: „Мы на свое житье, говоритъ псарь Троекурова, благодаря Бога и барина, не жалуемся: иному и барину не худо бы промѣнять усадьбу на любую здѣшнюю конуру“. И рядомъ съ этой челядью рисуется въ повѣсти жалкое крестьянское житье—бѣдное, голодное и забитое. Только боязнь перейти во владѣніе къ Троекурову, который „съ чужихъ крестьянъ не только шкуру сдеретъ, но и мясо“, могла привести крѣпостныхъ Дубровскаго сначала къ глухому ропоту на все происходящее, а потомъ и къ открытому сопротивленію властямъ, и къ разбою. Но, рассказывая обо всемъ этомъ, Пушкинъ съ глубокимъ знаніемъ русскаго народа упоминаетъ и о томъ, какъ тотъ же самый Архипъ, который хладнокровно заперъ всѣ двери въ домѣ, чтобы не спаслись подъячіе, лѣ-

зеть съ опасностью жизни на крышу, чтобы спасти кошку, жалобно мяукавшую тамъ. Типъ Савельича въ „Капитанской дочкѣ“, съ другой стороны, показываетъ, какъ Пушкинъ умѣлъ подмѣтить и показать трогательныя и привлекательныя стороны въ крѣпостномъ челоѣкѣ.

Не мало весьма характернаго мы находимъ у Пушкина и въ изображеніи *gospodъ* того времени.

Постоянное общество Лариныхъ въ романѣ „Евгеній Онѣгинъ“ составляли: толстый Пустяковъ, Гвоздинъ—владѣлецъ нищихъ мужиковъ, Скотинины, уѣздный франтикъ Пѣтушковъ, отставной совѣтникъ Фляковъ, тяжелый сплетникъ, обжора, взяточникъ и плутъ. При полнѣйшемъ умственномъ невѣжествѣ, напоминающемъ типы Фонвизина, мужчины проводили почти все время въ картежной игрѣ, попойкахъ и псовой охотѣ, разнообразя его развѣ бранью со старостой или ключницей, а женщины,—какъ Ларина—отличались сантиментальностью въ юности, и безцеремонною грубостью къ дворнѣ и даже къ мужу въ старые годы. Въ повѣстяхъ Пушкина выдающимися фигурами являются кн. Верейскій, Муромскій и особенно Троекуровъ, у котораго 500 собакъ на псарнѣ, устроенъ даже собачій лазаретъ и родильный пріютъ, и который тѣшится надъ гостями, запирая ихъ въ одну комнату съ медвѣдемъ; а стоитъ сосѣду, старику Дубровскому, оскорбленному нахаломъ-псаремъ, обидѣться,—и Троекуровъ отнимаетъ у него, при посредствѣ дрожащихъ передъ богачемъ губернскихъ судебныхъ властей, все родовое имѣніе.

Не болѣе содержательную и разумную жизнь ведетъ и молодое поколѣніе, изображенное Пушкинымъ.

Иного, впрочемъ, и ждать было трудно при томъ воспитаніи, которое давалось этому поколѣнію въ 20—30-хъ гг. нынѣшняго столѣтія. Мы видимъ или полнѣйшее невѣжество или воспитаніе чисто внѣшнее,

для вида, для свѣта, требовавшего только манеръ и французскаго языка, и кто, какъ Онѣгинъ, могъ свободно изъясняться по - французски и писать, ловко танцовать мазурку и непринужденно кланяться, тотъ уже считался образованнымъ и очень милымъ человекомъ. А если онъ умѣлъ потолковать о Ювеновалѣ, въ концѣ письма поставить Vale, зналъ нѣсколько историческихъ анекдотовъ и т. п. — то ужъ считался ученымъ. Еще ниже стояло женское образованіе.

И кто же у Пушкина является воспитателями этого молодого поколѣнія? Съ одной стороны, крѣпостные слуги, въ родѣ Савельича, нянюшки Татьяны и т. п. (и это едва ли не лучшіе воспитатели); съ другой, — иноземные пришельцы, гувернантки и гувернеры, въ родѣ Бопре, monsieur Abbè и т. п., иногда крайне невѣжественные и развращенные и стоявшіе въ домѣ почти на ряду съ прислугой... Сами же родители, въ большинствѣ случаевъ, не принимали никакого участія въ воспитаніи своихъ дѣтей какъ отецъ Онѣгина, отецъ Татьяны, который, самъ „не читая никогда“ ровно ничего, не заботился и о томъ, „какой у дочки тайный томъ дремалъ до утра подъ подушкой“. Иногда, впрочемъ, родители посылали сыновей учиться за границу, но и изъ этого такъ же мало выходило толку, какъ мало толку вышло изъ Ленскаго, такъ какъ не подготовленные къ серьезнымъ университетскимъ занятіямъ эти молодые люди возвращались на родину безъ всякихъ серьезныхъ пріобрѣтеній и оставались по прежнему недорослями, неспособными вполне сознательно и разумно отнестись къ окружающей ихъ жизни. И такъ воспитываемое — чисто внѣшнимъ образомъ и для успѣховъ въ свѣтѣ — молодое поколѣніе нашего столичнаго и богатаго провинціальнаго общества и жило по преимуществу въ свѣтѣ среди баловъ, кутежей и картъ... Театръ, охота, собаки, лихіе кони, любовныя похождения дополняли

и заканчивали кругъ интересовъ этого общества или, по крайней мѣрѣ, той части его, которая изображена Пушкинымъ. Были, конечно, исключенія. Различныя особенности политической, литературной и пр. жизни, характеризующія начало царствованія Александра I, стали мало-по-малу пробуждать въ нашемъ обществѣ потребность серьезной мысли и дѣятельности. Въ лучшихъ представителяхъ своихъ молодое поколѣнiе нашего передового сословія начало сознавать пустоту своего существованія и чувствовать потребность жизни болѣе серьезной и разумной, болѣе проникнутой интересами умственными, нравственными, эстетическими. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напр., тотъ же Онѣгинъ, стали тяготиться своимъ положеніемъ, тревожиться тѣми или другими общечеловѣческими идеалами,—въ серьезномъ, хотя и безпорядочномъ чтеніи искать рѣшенія своихъ тревогъ; но, къ сожалѣнію, только очень немногіе (какъ, напр. Чацкій Грибоѣдова) могли найти въ себѣ достаточно силы воли, чтобы рѣшительно покончить съ прежней жизнью, энергически взяться за свою нравственную переработку, и не на словахъ только, а и на дѣлѣ показать себя новыми людьми... Другіе же, какъ Онѣгинъ, совершенно не подготовленные поверхностнымъ воспитаніемъ къ серьезному труду, слабовольные и духовно безсильные, ограничивались только внѣшнимъ выраженіемъ своего недовольства жизнью или безсодержательною мечтательностью и фантазированіемъ на разныя отвлеченныя темы. Но во всякомъ случаѣ и *такое* броженіе замѣчалось только въ меньшинствѣ представителей тогдашняго молодого поколѣнія; большинство же совершенно было довольно жизнью въ

...Мертвящемъ упоеніи свѣта,
Среди бездушныхъ гордецовъ,
Среди блистательныхъ глупцовъ...
Среди всеневныхъ модныхъ сценъ,

Среди холодныхъ приговоровъ
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Разчетовъ, думъ и разговоровъ...

И какъ все въ этой средѣ случайно, все управляет-
ся минутными порывами ничѣмъ не сдерживаемыхъ
мелочныхъ побужденій и страстишекъ! Стоило Онѣгину
полюбезничать на балу съ Ольгой, и Ленскій тотчасъ
вызываетъ его на дуэль, а Онѣгинъ отвѣчаетъ, что
онъ всегда готовъ, а затѣмъ дерется и убиваетъ сво-
его друга и только потому, что опасается пересудовъ
рѣчистаго сплетника Зарѣцкаго, атамана картежной
шайки... Стоить въ пьяной компаніи стереть со стола
по разсѣянности сдѣланную не вѣрно записъ, — и оби-
женный офицеръ тотчасъ же схватываетъ мѣдный шан-
далъ и пускаетъ его прямо въ лобъ оскорбителю (пов.
„Выстрѣлъ“). А какое безобразное дѣло совершается,
напр., въ повѣсти „Метель“ гусаромъ Бурминымъ, и
другимъ гусаромъ въ пов. „Станціонный смотритель“!..

Изъ остальныхъ представителей молодого поколѣнія
въ „Повѣстяхъ“ Пушкина останавливаютъ на себѣ
нѣкоторое вниманіе Берестовъ-сынъ и Чарскій, какъ
и Дубровскій сынъ, современныя Онѣгину разнообразно-
сти этого типа. Берестовъ „первый явился предъ уѣзд-
ными барышнями мрачнымъ и разочарованнымъ, пер-
вый говорилъ имъ объ утраченныхъ радостяхъ и объ
увядшей своей юности; сверхъ того, носилъ онъ чер-
ное кольцо съ изображеніемъ мертвой головы. Все
это было чрезвычайно ново въ той губерніи“, хотя,
конечно, все это было напускное, и Берестовъ про-
изводитъ впечатлѣніе чловѣка, только что прочитав-
шаго „Ев. Онѣгина“ и подражающаго герою въ ма-
нерѣ обращенія, въ рѣчи и т. п. Это — подражаніе
подражанію, поверхностное и весьма нерѣдкое въ то
время копированіе „Москвича въ Чайльдъ-Гарольдо-
вомъ плащѣ“. — Поэтъ Чарскій по нѣкоторымъ чертамъ

напоминаетъ самого Пушкина, который такъ же, какъ и Чарскій, нерѣдко тяготился своимъ званіемъ поэта, чувствуя и видя, какъ низко цѣнило современное общество и поэзію и ея представителей, не признавая за ними никакой общественной заслуги и съ пренебреженіемъ относясь къ ихъ дѣятельности. Пренебрежительное и даже безтактное отношеніе этого общества къ геніальному импровизатору является въ повѣсти другимъ предметомъ ея содержанія, но такъ же, какъ и характеристика Чарскаго, служитъ одной и той же цѣли—показать въ образахъ жалкое положеніе у насъ поэта и поэзіи. Стих. „Поэтъ“, „Поэту“, „Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ“—только дополняютъ намъ эту мысль „Египетскихъ ночей“,—произведенія, къ которому Пушкинъ не разъ возвращался и которое неоднократно передѣлывалъ, чувствуя важность и личное, такъ сказать, для себя значеніе того вопроса, который затрогивается въ немъ. „Стихотворцы, —говоритъ Пушкинъ въ одномъ изъ подготовительныхъ набросковъ къ „Египетскимъ ночамъ“, —подвержены большимъ невыгодамъ и непріятностямъ. Не говорю объ ихъ обыкновенномъ гражданскомъ ничтожествѣ и бѣдности; о зависти и клеветѣ своей братіи, коихъ они дѣлаются жертвою, если они въ славѣ; о презрѣніи и насмѣшкахъ, со всѣхъ сторонъ падающихъ на нихъ, если произведенія ихъ не правятся. Но, кажется, что можетъ сравниться съ несчастіемъ, для нихъ неизбѣжнымъ—сужденіемъ глупцовъ? Однакожъ и это горе, какъ оно ни велико, не есть еще крайнее для нихъ. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца, есть его званіе, прозвище, коимъ онъ клейменъ. Публика смотритъ на него, какъ на свою собственность, считаетъ себя въ правѣ требовать отъ него отчета въ малѣйшемъ шагѣ. По ея мнѣнію, онъ рожденъ для ея удовольствія и дышитъ только для того, чтобы подбирать рѣшмы“. Пошлѣе отношеніе публики

къ поэзіи такъ надоѣло Чарскому, что онъ поминутно долженъ былъ удерживаться отъ какой-либо грубости, и, выводимый на каждомъ шагу изъ терпѣнія, онъ употреблялъ всевозможныя старанія, чтобы снять съ себя несносное прозвище поэта, избѣгалъ общества своей братіи—литераторовъ, и предпочиталъ имъ свѣтскихъ людей, даже самыхъ пустыхъ, всячески избѣгая разговоровъ о литературѣ и заставляя видѣть въ немъ самомъ свѣтскаго пошляка, охотника до лошадей, игрока, гастронома—словомъ, кого угодно, только не литератора. Въ 20—30 годахъ такъ именно было и со многими изъ лучшихъ нашихъ литераторовъ, начиная съ самого Пушкина.

Типичными представительницами *большинства* русскихъ женщинъ 20—30 гг. слѣдуетъ считать Пушкина Ольгу Ларину и ея мать. Почти всѣ остальные женщины, выведенныя Пушкинымъ, только разнообразности этихъ лицъ—менѣе пошлыя, болѣе пошлыя—но въ сущности одинъ и тотъ же, безмѣрно, надоѣвшій Пушкину портретъ; какъ бы подписью къ этому портрету являются слѣдующія ироническія строки въ „Барышнѣ-крестьянкѣ“: „Тѣ изъ моихъ читателей, которые не жила въ деревняхъ, не могутъ вообразить, что за прелесть эти уѣздныя барышни! Воспитанныя на чистомъ воздухѣ, въ тѣни своихъ садовыхъ яблонь, онѣ знаніе свѣта и жизни почерпаютъ изъ книжекъ... Для барышни звонъ колокольчика есть уже приключеніе; поѣздка въ ближайшій городъ полагается эпохою въ жизни, и посѣщеніе гостя оставляетъ долгое, иногда вѣчное воспоминаіе“. Всѣ барышни въ повѣстяхъ Пушкина, не исключая и Марьи Кирилловны въ „Дубровскомъ“, служатъ только такъ сказать иллюстраціями къ этой общей характеристикѣ, каждая, конечно, съ нѣкоторыми индивидуальными чертами, но съ общимъ всѣмъ имъ незначительнымъ выраженіемъ умственной фizioноміи.

Съ такими барышнями, конечно, по мнѣнію Пушкина, можно посмѣяться, поболтать отъ нечего дѣлать, особенно въ деревнѣ, въ долгій зимній вечеръ („Зима... Что дѣлать намъ?..) Но тотъ же Пушкинъ въ ужасъ приходитъ при одной мысли связать себя супружествомъ съ этимъ „милымъ, легкимъ, какъ пухъ, поломъ“, потому что какъ только настанетъ обычная домашняя жизнь—потянется или рядъ утомительныхъ картинъ во вкусѣ Лафонтена или рядъ всякихъ семейныхъ сценъ. Такою представляется поэту наша простая русская семья, въ которой „къ гостямъ усердіе большое, варенье, вѣчный разговоръ про дождь, про снѣгъ, про скотный дворъ“. Русская женщина у Пушкина не проснулась еще отъ своей вѣковой умственной спячки, и въ ея средѣ все пошло, плоско, скучно, даже скучнѣе и пошлѣе, чѣмъ у мужчинъ.

Но были и у Пушкина попытки изобразить хорошую русскую женщину: одна — Полина, княжеская дочь, сумѣвшая какъ-то, безъ всякихъ руководствъ и указаній, сдѣлаться и образованной и развитой личностью; другая—Татьяна, выросшая на сказкахъ няни, деревенскихъ пѣсняхъ да романахъ, своеобразно подѣйствовавшихъ на ея впечатлительную, воспріимчивую, богатую натуру. Но обѣ эти женщины въ концѣ концовъ становятся обыкновенными великосвѣтскими дамами, женами пошляковъ—мужей—и мечтательная Татьяна, искавшая идеала, лучшаго, чѣмъ какой могла ей представить деревенская глушь, но никѣмъ не понятая и едва совсѣмъ не погибшая, молча и незамѣтно ни для кого; и Полина, нашедшая въ себѣ смѣлости возмущаться равнодушіемъ общества къ своей родинѣ и, не боясь насмѣшекъ, заявлять о томъ, что женщина также должна любить отечество и принимать участіе въ дѣлахъ своихъ братьевъ, отцовъ, мужей и дѣтей. Въ ту глухую пору, впрочемъ, иначе и не могло быть.

Такъ отразилось въ соч. Пушкина русское общество 20 — 30-хъ гг. Картина вышла довольно сѣрая и неприглядная, какъ сѣра и неприглядна была и на самомъ дѣлѣ современная поэту, русская дѣйствительность (особенно послѣ 1812 г.). Онъ прекрасно понималъ преобладающій характеръ ея и правдиво отразилъ его въ своихъ произведеніяхъ, насколько это, повторяемъ, оказалось для него возможнымъ по указаннымъ выше условіямъ. Начавъ свою дѣятельность свѣтлыми, жизнерадостными пѣснями и будучи по преимуществу склоненъ и способенъ изображать высокое и прекрасное, Пушкинъ скоро обнаруживаетъ *элегическое* отношеніе къ жизни, которая чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе начинаетъ доставлять поэту тяжелыхъ испытаній. У Грибоѣдова въ 1823 г. еще раздается громкая и пылкая рѣчь Чацкаго, котораго боятся Фамусовы, Скалозубы и пр.; многіе еще въ то время, бросая службу, предаются занятіямъ наукою, какъ братъ Скалозуба или какой-то князь — химикъ и ботаникъ; въ англійскомъ клубѣ еще громко ведутся толки о Байронѣ, о камерахъ и о матеріалахъ важныхъ; но далѣе—все это и подобное смолкаетъ и прекращается, и самъ Пушкинъ, пользовавшійся особою милостью у государя Николая Павловича, до самой смерти своей, тѣмъ не менѣе, остается подъ строгимъ надзоромъ графа Бенкендорфа. Какъ Чацкій отъ ума, такъ Пушкинъ отъ своего таланта много потерпѣлъ горя, пока, наконецъ, не былъ оскорбленъ и убитъ святотатственной рукой, по выраженію Полонскаго,—былъ убитъ въ то время, когда духовныя силы его только что достигли полнаго своего равновѣсія и развитія. Когда,—какъ говоритъ его біографъ,—поэтическія пѣсни его зазвучали новыми и могучими аккордами, когда въ нихъ слышалось такое обиліе творческой неистощимой силы, что онѣ казались скорѣе еще только началомъ богатой, полной всемірнаго значенія дѣятельности, чѣмъ ея окончаніемъ.

2. Въ вышеизложенномъ мы старались охарактеризовать Пушкина, по - преимуществу, какъ писателя, поэтически воспроизводившаго русскую дѣйствительность, насколько она была доступна изученію въ то время, и какъ она представлялась непосредственному наблюденію поэта. Но этимъ, конечно, не можетъ быть исчерпано общественное значеніе дѣятельности Пушкина. При знакомствѣ съ каждымъ выдающимся писателемъ естественно возникаетъ вопросъ, какія *новыя* понятія и идеи вноситъ писатель въ общее сознаніе, изображая жизнь въ типическихъ чертахъ, какими *идеалами* проникнутъ писатель, наконецъ, каковъ онъ вообще, какъ *человѣкъ*. Возникаютъ, конечно, эти вопросы и при опредѣленіи значенія Пушкина въ русской литературѣ и его умственно - нравственной личности, тѣмъ болѣе, что онъ самъ предъявлялъ высокія требованія личности поэта и высоко смотрѣлъ на значеніе поэзіи, видя въ ней одно изъ могущественныхъ средствъ вліять на общество нравственно воспитывающимъ и возвышающимъ образомъ. Но, обращаясь за разрѣшеніемъ интересующаго насъ вопроса непосредственно къ произведеніямъ Пушкина, мы, при всей постоянной и самой тѣсной связи его поэзіи съ дѣйствительною жизнью и, въ частности, съ личною жизнью самого поэта, — наталкиваемся, однако, на нѣкоторыя трудности. Прежде всего, еще разъ слѣдуетъ указать на тѣ цензурныя препятствія къ вполнѣ свободному изложенію своихъ мыслей, которыя почти постоянно приходилось испытывать Пушкину; затѣмъ слѣдуетъ принимать во вниманіе и другое обстоятельство, заключающееся въ томъ, что Пушкинъ почти никогда не оставлялъ своихъ наиболѣе субъективныхъ произведеній въ той первоначальной формѣ, въ какой зарождались они въ его душѣ, подъ непосредственнымъ дѣйствіемъ впечатлѣнія *).

*) См. кн. проф. Никольскаго „Идеалы Пушкина“, стр. 13 et squ. СПб. 1887.

Напротивъ, долгое время обрабатывая и передѣлывая свои созданія, онъ, въ большинствѣ случаевъ, ослаблялъ или даже совсѣмъ уничтожалъ въ нихъ черты дѣйствительнаго случая, вызвавшего это созданіе, и придавалъ, такимъ образомъ, послѣднему общечеловѣческій смыслъ и значеніе. И причина многихъ подобныхъ передѣлокъ заключалась вовсе не въ художественныхъ требованіяхъ, а въ особенностяхъ духовной природы поэта. „Если бы мы захотѣли, — говоритъ проф. Никольскій, — опредѣлить самую сокровенную сущность души поэта, мы назвали бы ее *цѣломудріемъ*. Отсюда — замѣшательство, робость, застѣнчивость, неловкость тамъ, гдѣ Пушкинъ долженъ былъ выразить *истинное* свое чувство: вспомнилъ его бѣгство предъ Державинымъ, его неловкость предъ Гончаровой и множество подобныхъ случаевъ. Пушкинъ зналъ это свойство своей натуры и не только старался таить въ себѣ свои лучшія свойства — такъ что, чѣмъ святѣе было для него чувство, тѣмъ меньше онъ его высказывалъ, — но еще, какъ разъ напротивъ, всячески старался отречься отъ этого чувства, даже осмѣять его, лишь бы не приписали ему его, и наоборотъ, охотно и добровольно бралъ на себя всякіе пороки, и по преимуществу тѣ, которые были противоположны за-таеннымъ въ немъ добродѣтелямъ. „Душа человѣка“ — говоритъ самъ Пушкинъ по поводу одного напечатаннаго имъ анекдота о Байронѣ — „есть недоступное хранилище его помысловъ: если онъ самъ таитъ ихъ то ни коварный глазъ непріязни, ни предупредительный взоръ дружбы не могутъ проникнуть въ сіе хранилище. И какъ судить о свойствахъ и образѣ мыслей человѣка по наружнымъ его дѣйствіямъ? Онъ можетъ по произволу надѣвать на себя притворную личину порочности, какъ и добродѣтели. Часто, по какому-то своенравному убѣжденію ума своего, онъ можетъ выставить на позоръ толпѣ не самую лучшую

сторону своего нравственного бытія; часто может бросать пыль въ глаза однѣми своими странностями“. Трудность обнаружить истинную сущность міросозерцанія Пушкина увеличивается, съ другой стороны, еще и тѣмъ, что онъ не оставилъ намъ ни одного такого произведенія—не исключая и „Евгенія Онѣгина“, въ которомъ выразился бы *весь* его геній, казалось бы *все*, что онъ имѣлъ сказать міру, какъ напр., Данте—въ „Божественной комедіи“, Гёте въ „Фаустѣ“, Байронъ въ „Донъ-Жуанѣ“. Наиболѣе совершенныя созданія Пушкина не могутъ вполне охарактеризовать его: внимательный, вдумчивый читатель непременно долженъ оставить ихъ съ убѣжденіемъ, что Пушкинъ выше своихъ созданій. Пушкинъ переходилъ отъ замысла къ замыслу, покидалъ неоконченными величайшія произведенія, а между тѣмъ созрѣвалъ онъ медленно и глубоко, какъ Гёте, на котораго онъ походилъ и по широтѣ своего таланта. Но онъ умеръ 37 лѣтъ—въ такіе годы, когда Гёте написалъ еще только „Вертера“ и наброски первой части „Фауста“.

Вся поэзія Пушкина, по его силамъ, — только отрывки, обломки міра, создатель котораго умеръ преждевременно:

Теперь стою я, какъ ваятель,
Въ своей великой мастерской.
Передо мной,—какъ исполины,
Недовершенныя мечты!
Какъ мраморъ, ждуть онѣ единой
Для жизни творческой черты...
Простите жъ, пышныя мечтанья!
Осуществить я васъ не могъ...
О, умираю я какъ богъ
Средь начатого мірозданья!.. *)

*) Изъ статьи Мережковского о Пушкинѣ въ книгѣ Перцева „Философскія теченія русской поэзіи“.

Вслѣдствіе всего этого та оцѣнка Пушкина и его міросозерцанія, которая ограничилась бы только данными поэтической его дѣятельности, естественно вышла бы одностороннею, неполною и могла бы дать ошибочное представленіе о немъ, какъ о человѣкѣ. Необходимо поэтическія данныя при характеристикѣ Пушкина дополнять его письмами, воспоминаніями о немъ и пр., чтобы болѣе правильно судить о немъ и яснѣе понимать его, понимать, почему, напр., императоръ Николай Павловичъ назвалъ его самымъ замѣчательнымъ человѣкомъ въ Россіи, и почему онъ производилъ впечатлѣніе огромной умственной силы на всѣхъ, кто съ нимъ встрѣчался и былъ способенъ его понять.

Довольно цѣннымъ пособіемъ въ этомъ отношеніи являются, между прочимъ, „Записки Смирновой“, современницы Пушкина, хотя нѣкоторыми и заподозривается полная достовѣрность этихъ „записокъ“. Пушкинъ обрисовалъ въ нихъ—въ полномъ согласіи съ вышеприведенными отзывами о немъ,—какъ серьезный человѣкъ, чутко отзывавшійся на самые разнообразныя міровыя вопросы и необыкновенно ясно и вдумчиво отвѣчавшій на нихъ. Изъ этихъ „записокъ“ предъ нами возникаетъ не только Пушкинъ „Евгенія Онѣгина“, „Бориса Годунова“ и другихъ подобныхъ произведеній, которыя онъ успѣлъ создать при жизни, но и Пушкинъ будущаго, Пушкинъ многихъ недовершенныхъ замысловъ,—такой, какимъ его можно предчувствовать по разнымъ намекамъ и замѣчаніямъ. Дѣлается понятнымъ при чтеніи этихъ „записокъ“,—говоритъ г. Мережковскій,—откуда и куда шелъ Пушкинъ, открывается высшая ступень просвѣтлѣнія, которой уже онъ достигалъ. Еще шагъ, еще усиліе—и Пушкинъ, какъ другой русскій геній, столь родной ему по духу—Петръ Великій,—поднялъ бы еще въ свое время — и вынесъ русскую поэзію на міровую вы-

соту. Но въ это мгновеніе голосъ поэта умолкаетъ навѣки...

Въ началѣ своей дѣятельности (1814—1824 гг.) Пушкинъ, получившій много прочныхъ устоевъ въ семьѣ и школѣ, является, благодаря крайней отзывчивости и чуткости своей молодой натуры, по преимуществу отголоскомъ всѣхъ тѣхъ вѣяній, которыя проносились тогда надъ русскою жизнью: онъ увлекается, то либеральнымъ движеніемъ, то чистымъ невѣріемъ и скептицизмомъ, то „вмѣняетъ себѣ въ законъ *страстей* единый произволъ“. Эти *страсти* по преимуществу онъ изображаетъ и въ своихъ произведеніяхъ той поры въ лирическихъ стихотвореніяхъ, въ байроническихъ поэмахъ. Но мало-по-малу онъ перестаетъ въ этихъ страстяхъ видѣть общественную зиждательную силу, устааетъ рисовать ихъ игру. Уже въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“ онъ старается противопоставить имъ возвышенный *нравственный* характеръ въ образѣ Маріи; въ „Полтавѣ“ среди „сильныхъ, гордыхъ... мужей, столь полныхъ волею страстей“, онъ оставляетъ торжествующимъ только Петра, представителя общественного *долга* и дѣла, а въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ даетъ идеалъ нравственного долга и достоинства въ Татьянѣ, которая свято чтитъ данное ею обязательство и не хочетъ быть игрушкою ни чужихъ, ни своихъ страстей; подобная же идея выражена довольно ясно и въ повѣстяхъ „Дубровский“ и „Метель“. „Любовь въ бракѣ,—замѣчаетъ Пушкинъ у Смирновой,—это верхъ человѣческаго достоинства въ любви“.

Между мелкими стихотв. Пушкина мы имѣемъ достаточно доказательствъ, что эта переменна въ нравственныхъ воззрѣніяхъ поэта не была безсознательна, а, напротивъ, вырабатывалась путемъ серьезной и весьма рано начавшейся работы его надъ своимъ нравственнымъ состояніемъ. Вспоминая о своихъ „грѣхахъ юности“, Пушкинъ говоритъ:

Когда на память мнѣ невольно
Придетъ внушенный ими стихъ,
Я содрогаюсь, сердцу больно,
Мнѣ стыдно идиловъ моихъ.
Къ чему несчастный я стремился?
Предъ кѣмъ унизилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Боготворить не устыдился?
Ахъ, лира, лира! Что же ты
Мое безумство разгласила?
Ахъ, если бъ Лета поглотила
Мои летучія мечты!.. (I, 462).
— Пустыми звуками, словами
Вы сѣете развратно зло...
Пѣвцы любви, скажите сами,
Какое ваше ремесло?
Передъ судилищемъ Паллады,
Вамъ нѣтъ вѣнца, вамъ нѣтъ награды (III, 191).

Еще рѣзче воспоминаетъ поэтъ о заблужденіяхъ своей измученной души въ 1828 г., въ стих. „Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день“... Среди ночной тиши для поэта влачатся тогда часы томительнаго бдѣнья:

Въ бездѣйствіи ночномъ живѣй горятъ во мнѣ
Змѣи сердечной угрызенья;
Мечты кипятъ: въ душѣ, подавленной тоской,
Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ;
Воспоминаніе безмолвно предо мною
Свой длинный развиваетъ списокъ:
И, съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.

Не разъ въ этомъ же смыслѣ высказывается Пушкинъ и въ „Запискахъ Смирновой“. Когда совершилось полное освобожденіе поэта отъ различныхъ случай-

ныхъ и временныхъ вѣяній и увлеченій, онъ представилъ это въ величественномъ образѣ своего „Пророка“.

Много поработать пришлось Пушкину и надъ своимъ *умственнымъ* воспитаніемъ. Упорнымъ и неустаннымъ трудомъ надъ своими произведеніями достигалъ онъ кажущейся легкости и свободы ихъ формы и неразрывно связывалъ съ трудомъ же и такъ называемое *вдохновеніе*. „Критикъ смѣшиваетъ вдохновеніе съ восторгомъ, — говоритъ онъ въ одной замѣткѣ. — Вдохновеніе есть расположеніе души къ живѣйшему принятію впечатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно, и объясненію оныхъ. *Вдохновеніе нужно въ геометріи, какъ и въ поэзіи*. Восторгъ исключаетъ спокойствіе — необходимое условіе прекраснаго. Восторгъ не предполагаетъ силы ума, располагающаго частями по отношенію къ цѣлому. Восторгъ непродолжителенъ, непостояненъ, слѣдов., не въ силахъ произвести истинное, великое совершенство. *Онъ исключаетъ постоянный трудъ, безъ коего нѣтъ истинно великаго*“ (V, 23).

Не менѣе важенъ и тотъ, идущій чрезъ всю жизнь поэта, трудъ, — трудъ *самообразованія*, которымъ онъ старался вознаградить недостатки своего „проклятаго“, какъ онъ выражался, воспитанія. Письма Пушкина заключаютъ въ себѣ постоянно требованія книгъ, книгъ и книгъ. На книги уходила большая часть его средствъ, и въ теченіе жизни онъ составилъ весьма значительную библіотеку. И чтеніе это сопровождалось постоянно выписками, сличеніями, критическими замѣчаніями, такъ что и чтеніе было у него трудомъ въ собственномъ и серьезномъ смыслѣ этого слова. Такъ же неустанно Пушкинъ вдумывался во всѣ явленія и собственной и окружающей его жизни, стремясь уразумѣть ихъ смыслъ и вывести изъ нихъ поученія, благодаря чему и сама жизнь имѣла для него воспитывающее значеніе и въ свѣтлыхъ и въ темныхъ своихъ событіяхъ.

Это вліяніе жизни не могло не отразиться и на взглядах Пушкина на искусство, на литературу, на ея общественныя цѣли и задачи. Подвергаясь весьма часто нападкамъ, большею частью невѣжественныхъ и лукавыхъ цѣнителей, Пушкинъ не могъ, конечно, сразу стать въ надлежащее къ нимъ отношеніе и, какъ извѣстно, въ стих. „Чернь“, въ весьма приподнятомъ и, можно сказать, ложноклассическомъ, тонѣ высказалъ не мало раздраженія и даже противорѣчій; но затѣмъ мало-по-малу онъ понялъ истинную цѣну этихъ нападокъ и, сознавъ свои силы, сознавъ, что было кругомъ его, пришелъ къ тѣмъ взглядамъ на поэзію и вообще литературу, которые можно считать идеальными и обязательными для каждаго писателя. Писатели могутъ различаться по свойствамъ своего таланта, могутъ быть совершенно противоположны по сюжетамъ своихъ произведеній, по сферѣ изображаемой ими жизни, по приемамъ, наконецъ, своего наблюденія и воспроизведенія жизни, но они всѣ должны быть именно таковы, по умственному и нравственному своему складу, какими изобразилъ ихъ Пушкинъ въ своихъ стих. „Поэту“ „Пророкъ“, равно какъ и въ частныхъ своихъ бесѣдахъ и различныхъ замѣткахъ.

Высокіе завѣты Пушкина были приняты всѣми выдающимися писателями нашими, слѣдовавшими за Пушкинымъ, — Гоголемъ, Гончаровымъ, Тургеневымъ и др., и до сихъ поръ остаются неопровергнутыми. Истинно и вполне изящно только то, говорятъ намъ эти завѣты (Тургеневъ), что ведетъ къ добру и правдѣ, что возвышаетъ и облагораживаетъ умъ и сердце. Цѣль художества — высокій идеалъ, и отклоненіе отъ него называется дурнымъ или зловреднымъ направлениемъ. Но какъ художнику и поэту среди разнообразія людей и противорѣчивыхъ требованій, которыя часто предъявляются ему невѣждами, — какъ ему сохранить и уберечь свободу и независимость въ своихъ

творческихъ замыслахъ и въ безкорыстныхъ, чистыхъ влеченіяхъ фантазіи и сердца? Одного *таланта* недостаточно, не спасетъ и твердость воли, если на помощь не придетъ истинное, глубокое образованіе, какъ оно сложилось опытами вѣковъ, и знаніе. „Нужно постоянное общеніе съ средой, которую берешься воспроизводить (слова Тургенева); нужна правдивость, правдивость неумолимая въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; нужна нравственная высота, нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій—и, наконецъ, нужна образованность, нужно знаніе. Ученье не только свѣтъ, по народной пословицѣ,—оно также и свобода. Ничто такъ не освобождаетъ человѣка, какъ знаніе, и нигдѣ такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи“.

Поэтъ (говоритъ Пушкинъ)... дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
Не требуя наградъ за подвигъ благородный...

„Мысль—великое слово!“—замѣчаетъ Пушкинъ въ другомъ мѣстѣ.—Что же и составляетъ величіе человека, какъ не мысль? Да будетъ же она свободна, какъ долженъ быть свободенъ человѣкъ: въ предѣлахъ закона, при полномъ соблюденіи условій, налагаемыхъ обществомъ“ (Мысли въ дорогѣ).

Къ 1825—26 гг. Пушкинъ, особенно благодаря, невольному уединенію своему въ Михайловскомъ,—когда онъ особенно усиленно работалъ надъ своимъ духовнымъ міромъ—онъ окончательно проникается русскою народностью, становится русскимъ народнымъ поэтомъ. Онъ все болѣе и болѣе проникается бытовыми и историческими началами и, стремясь угадать предназначеніе страны своей родной, приходитъ къ тому выводу, что это предназначеніе она можетъ выполнить, только оставаясь *сама собой*, только слѣдуя

тѣмъ путемъ, который предначертанъ ея предыдущей исторіей, развивая тѣ начала, которыя заложены въ духъ народа и выразились въ его бытѣ, воззрѣніяхъ и убѣжденіяхъ. Капитальнѣйшее свое произведеніе историческаго содержанія „Борись Годуновъ“ онъ заканчиваетъ указаніемъ, что безъ народа его судебъ рѣшать нельзя; позднѣе, онъ пишетъ: „Лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя происходятъ отъ улучшенія нравовъ, безъ всякихъ насильственныхъ потрясеній“ (IV, 250).

Отсюда опредѣляются взгляды Пушкина на *гражданскій долгъ и царскую власть*. Принадлежа самъ къ 600-лѣтнему дворянскому роду, Пушкинъ понималъ дворянство не какъ права, а какъ обязанности, и видѣлъ его значеніе въ искреннемъ, свободномъ и неподкупномъ служеніи отечеству; вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ гражданинъ, онъ считалъ себя обязаннымъ принимать участіе и въ политической жизни его. Поэтому, Пушкина долго и неотступно занимала мысль объ изданіи политическаго журнала, и онъ не мало потратилъ трудовъ и усилій на ея осуществленіе. Но враги не позволили ему выполнить этотъ планъ, и поэтъ только въ частныхъ бесѣдахъ и въ поэтическихъ формахъ могъ высказывать свои политическіе взгляды, но и то не всегда и не вполнѣ. Таковы взгляды незамѣтныхъ героевъ екатерининской эпохи—героевъ „Капитанской дочки“, смѣло глядящихъ въ глаза смерти и просто умирающихъ за правое дѣло, какъ умерли Мироновы, какъ готовъ былъ умереть Гриневъ; таковы взгляды патріотическихъ одъ Пушкина — „Клеветникамъ Россіи“, „Бородинская годовщина“; таковъ идеальный образъ Петра въ „Полтавѣ“, „Мѣдномъ всадникѣ“ въ нѣсколькихъ мелкихъ стих.,—Петра, который воздвигъ себѣ огромный памятникъ—и передъ великимъ дѣломъ

Въ гражданствѣ сѣверной державы,
Въ ея воинственной судьбѣ,

котораго должны замолкнуть всѣ протесты отдѣльных личностей, пострадавшихъ при совершеніи этого дѣла.

Въ 1836 г. въ журналѣ „Телескопъ“ было напечатано надѣлавшее такъ много шуму въ свое время „Философское письмо“ Чаадаева, въ которомъ, при полномъ благоговѣніи передъ западомъ, авторомъ отрицались наша исторія, наше отечество, наша вѣра, какія бы то ни было права наши на національную самостоятельность и жизнь. Это письмо глубоко возмутило Пушкина, и мы имѣемъ письмо его по этому поводу къ Чаадаеву, въ которомъ онъ обнаруживаетъ живое и самостоятельное пониманіе исторіи нашего отечества, равно какъ и современнаго его положенія. Вотъ небольшой отрывокъ изъ этого письма: „Я положительно не могу согласиться съ Вами относительно историческаго нашего ничтожества. Войны Олега и Святослава и даже удѣльныя войны,—вѣдь это тоже *жизнь* кипучей отваги и безцѣльной и недозрѣлой дѣятельности, которая характеризуетъ молодость *всѣхъ* народовъ. Вторженіе татаръ есть великое, хотя и печальное зрѣлище. Пробужденіе Россіи, развитіе ея могущества, ходъ къ единству, оба Ивана, величественная драма, начавшаяся въ Угличѣ и окончившаяся въ Ипатьевскомъ монастырѣ,—какъ, неужели это не исторія, а только блѣдный и полузабытый сонъ? А Петръ Великій, который одинъ — цѣлая всемірная исторія? А Екатерина II? А Александръ, который привелъ насъ въ Парижъ? И (положа руку на сердце) развѣ вы не находите чего-то величественнаго въ настоящемъ положеніи Россіи, чего-то такого, что должно поразить будущаго историка?.. Нужно признаться, что наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствіе общественнаго мнѣнія, это равнодушіе ко всякому долгу, къ справедливости и правдѣ, это циническое презрѣніе къ мысли и къ человѣческому до-

стоинству, дѣйствительно, приводятъ въ отчаяніе... Но клянусь вамъ честью, что ни за что на свѣтѣ я не захотѣлъ бы перемѣнить отечества, ни имѣть другой исторіи, какъ исторію нашихъ предковъ, такую, какъ намъ Богъ послалъ“.

Увлеченія политическія Пушкина были вообще дов. поверхностны и непродолжительны, и онъ дов. рано пришелъ къ той мысли, что для развитія и процвѣтанія современной ему Россіи необходимое условіе составляетъ самодержавная власть. „Аристократія послѣ Петра,—писалъ Пушкинъ еще въ 1821 г.,—неоднократно замышляла ограничить самодержавіе; къ счастью, хитрость государей торжествовала подъ честолюбіемъ вельможъ, и образъ правленія остался неприкосновеннымъ. Это спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма, и существованіе народа не отдѣлилось вѣчной чертой отъ существованія дворянъ. Если бы гордые замыслы Долгорукихъ и прочихъ совершились, то владѣльцы душъ, сильные своими правами, всѣми силами затруднили бы или даже уничтожили бы способы освобожденія людей крѣпостного состоянія, ограничили бы число дворянъ и заградили бы для прочихъ сословій путь къ достиженію должностей и почестей государственныхъ. Одно только страшное потрясеніе могло бы уничтожить въ Россіи закоренѣлое рабство; *нынѣ же* политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ: желаніе лучшаго соединяетъ всѣ состоянія противъ общаго зла, и твердое, мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ на ряду съ просвѣщенными народами Европы“ (Анненк., — „Пушкинъ въ Александровскую эпоху“). Пушкинъ хотѣлъ также написать драму, выставивъ въ ней въ позорномъ свѣтѣ все безобразіе „безнравственнаго“, „ненавистнаго и унижительнаго“ крѣпостничества; всѣмъ извѣстно, наконецъ, его стих. „Деревня“, *),

*) Напечатано только въ 1870 году.

Е. Воскресенскій. Литерат. чтенія.

къ которому весьма сочувственно отнесся самъ императоръ Александръ I, приказавъ благодарить автора за возбуждаемыя имъ добрыя чувства:

Увижу ль я народъ освобожденный,—

спрашиваетъ Пушкинъ въ концѣ этого стихотворенія,—

И рабство, падшее по манію царя?
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

Вопросъ о крѣпостномъ правѣ, можно сказать, постоянно занималъ Пушкина, и съ крестьянской реформой онъ связывалъ въ будущемъ всѣ остальные... „Я предвижу,—говорить онъ у Смирновой,— что лѣтъ черезъ 30 на св. Руси произойдетъ замѣчательная эволюція... Послѣ освобожденія крестьянъ у насъ будутъ гласные процессы, присяжные, большая свобода печати, реформы въ общественномъ воспитаніи и въ народныхъ школахъ... Все это придетъ свыше,—и это будетъ эволюція, которая не будетъ носить политическаго характера, какъ на западѣ“...

Осуществленіе того идеала царя, который былъ выработанъ сознаніемъ Пушкина, онъ видѣлъ въ императорѣ Николаѣ Павловичѣ, въ его твердомъ, прямомъ и благородномъ характерѣ, который даже заклятыхъ враговъ его заставилъ дать ему названіе рыцаря; съ личностью же Александра I Пушкинъ не могъ примириться во всю свою жизнь, благодаря тѣмъ противорѣчіямъ слова и дѣла, въ которыя иногда впадалъ императоръ, и которыя тяжело отзывались и на Пушкинѣ. Бывали недоразумѣнія и размолвки у Пушкина и съ государемъ Николаемъ Павловичемъ, но не благодаря государю, а благодаря тѣмъ людямъ, которые, къ несчастью, такъ часто злоупотребляли благородствомъ его характера и вмѣшивались въ отно-

шенія между царемъ и поэтомъ. Все время Пушкинъ чувствовалъ къ государю искреннюю любовь, не закрывая глазъ и на его недостатки, и всегда имѣлъ полное право говорить:

Нѣтъ, я не льстецъ, когда царю
Хвалу свободную слагаю;
Я смѣло чувства выражаю,
Языкомъ сердца говорю.
Его я просто полюбилъ:
Онъ бодро, честно править нами.
Во мнѣ почтилъ онъ вдохновье,
Освободилъ онъ мысль мою,
И я ль, въ сердечномъ умиленьи,
Ему хвалы не воспою?..

Пушкинъ видѣлъ въ Николаѣ Павловичѣ сходство съ Петромъ Великимъ и ждалъ отъ него много добраго для Россіи; эту мысль онъ выразилъ въ известномъ своемъ стихотвореніи:

Въ надеждѣ славы и добра
Гляжу впередъ я безъ боязни:
Начало славныхъ дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой онъ привлекъ сердца,
Но нравы укротилъ наукой,
И былъ отъ буйнаго стрѣльца
Предъ нимъ отличенъ Долгорукій.
Самодержавною рукой
Онъ смѣло сѣялъ просвѣщенье,
Не презиралъ страны родной:
Онъ зналъ ея предназначенье.
То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ.
Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ,—

заканчиваетъ стих. Пушкинъ, обращаясь къ Николаю Павловичу,—

Во всемъ будь прашуру подобенъ:
Какъ онъ, неутомимъ и твердъ
И памятью, какъ онъ, незлобенъ.

Но...

—Бѣда странѣ,—

говорить Пушкинъ въ другомъ стихотвореніи,—

Гдѣ рабъ и льстецъ
Одни приближены къ престолу,
А небомъ избранный пѣвецъ
Молчить, потуя очи долу.
... Льстецъ лукавъ,—
Онъ горе на царя назоветъ,
Изъ всѣхъ его державныхъ правъ
Одну онъ милость ограничитъ.
Онъ скажетъ: презирай народъ,
Гнети природы голосъ нѣжный!
Онъ скажетъ: просвѣщенья плодъ—
Страстей и воли духъ мятежный.

Таковы политическіе взгляды Пушкина. Они, надо замѣтить, стоятъ въ связи и съ болѣе общими основами его міросозерцанія.

„Во всѣ времена,—говоритъ Пушкинъ у Смирновой,— были избранные, предводители; это восходитъ до Ноя и Авраама... Разумная воля единицъ или меньшинства управляла человѣчествомъ. Въ массѣ воли разъединены, и тотъ, кто овладѣетъ ею, сольетъ ихъ воедино. Роковымъ образомъ, при всѣхъ видахъ правленія, люди подчинялись меньшинству или единицамъ. Въ сущности неравенство есть законъ природы. Въ виду разнообразія талантовъ, даже физическихъ способностей, въ человѣческой массѣ нѣтъ единообразія; слѣдов., нѣтъ и равенства. Всѣ перемѣны къ добру или худу затѣвало меньшинство; толпа шла по стопамъ его, какъ панургово стадо. Чтобы убить Цезаря, нужны были только Брутъ и Кассій;

чтобы убить Тарквинія, было достаточно одного Брута. Для преобразования Россіи хватило силъ одного Петра Великаго. Наполеонъ безъ всякой помощи обуздалъ остатки революціи. Единицы совершали всѣ великія дѣла въ исторіи... Воля создавала, разрушала, преобразовывала... Ничто не можетъ быть интереснѣе исторіи святыхъ, этихъ людей съ чрезвычайно сильною волей... За этими людьми шли, ихъ поддерживали, но первое слово всегда было сказано ими... Не думаю, чтобъ міръ могъ увидѣть конецъ того, что, исходитъ изъ глубины человѣческой природы, что кромѣ того, существуетъ и въ природѣ—неравенства“. Пушкинъ является, такимъ образомъ, сторонникомъ культа героевъ (о которомъ такъ краснорѣчиво говоритъ, напр., и Карлейль въ извѣстной своей книгѣ) и противопоставляетъ имъ толпу, массу... Отсюда стремленіе Пушкина идеализировать этихъ героевъ—Байрона, Наполеона, Магомета, что и видимъ въ его поэзіи; отсюда получаетъ особый смыслъ и любовь Пушкина къ величественнымъ явленіямъ природы, любовь къ морю, Кавказу... Героическое, величественное, властное и могучее,—въ *исторіи*, въ *природѣ*,—сила *воли* и *страсти*—вотъ мотивы, которые весьма замѣтны и въ началѣ поэтической дѣятельности Пушкина и въ продолженіи ея... Эти мотивы слышатся и въ „Пирѣ во время чумы“, и въ „Египетскихъ ночахъ“ (въ стихотв. части), и въ „Скупомъ рыцарѣ“, и въ „Каменномъ гостѣ“. А вотъ и герои, хотя и неудачники: Борисъ Годуновъ, Марина, Сальери, Стенька Разинъ, Пугачевъ, Гришка Отрепьевъ... Но надъ всѣми ими возвышается тотъ, о комъ мы уже не разъ вспоминали, кто былъ первообразомъ самого поэта,—герой русскаго *подвига*, какъ Пушкинъ былъ герой русскаго созерцанія—Петръ Великій. Прежде всего, для Пушкина беспощадная, титаническая воля Петра явленіе вполне русское и народное. Въ Петрѣ Пушкинъ на-

шелъ наиболѣе полное историческое воплощеніе русскаго героизма, древняго могущества русскихъ богатырей, которому онъ самъ такъ сочувствовалъ. „Я утверждаю, — говорилъ Пушкинъ у Смирновой, — что Петръ былъ архирусскимъ человѣкомъ, несмотря на то, что сбрилъ свою бороду и надѣлъ голландское платье. Хомяковъ заблуждается, говоря, что Петръ думалъ, какъ нѣмецъ. Я спросилъ его на-дняхъ, изъ чего онъ заключаетъ, что *византійскія* идеи Московскаго царства народнѣе, чѣмъ идеи Петра“. Но Пушкинъ не закрываетъ глазъ и на несовершенства своего героя. „Петръ былъ нетерпѣливъ, — говоритъ онъ, въ одной замѣткѣ: — ставъ главою новыхъ идей, онъ можетъ быть, далъ слишкомъ крутой оборотъ огромнымъ колесамъ государства. Въ общее презрѣніе ко всему народному включена и народная поэзія, столь живо проявившаяся въ грустныхъ народныхъ пѣсняхъ, въ сказкахъ и лѣтописяхъ“. Но, съ другой стороны, беспощадная сила, которая въ своемъ шествіи и дѣятельности сокрушаетъ все и всѣхъ, не кажется Пушкину однимъ изъ несовершенствъ героя, хотя онъ и не рѣшаетъ ясно вопроса, искупаются ли радостью и торжествомъ одного великаго страданія безчисленныхъ малыхъ. „Я роюсь въ архивахъ, — говоритъ Пушкинъ, — тамъ ужасныя вещи: дѣйствительно, много было пролито крови, но ужъ рокъ велитъ варварамъ проливать ее, и исторія всего человѣчества залита кровью, начиная отъ Каина и до нашихъ дней. Это, можетъ быть, не утѣшительно, но не для меня, такъ какъ я имѣю въ виду будущность... Петръ былъ революціонеръ-гигантъ, но это геній, какихъ нѣтъ“. „Петръ есть въ одно и то же время и Робеспьеръ и Наполеонъ (воплощенная революція)“, замѣчаетъ Пушкинъ въ другомъ мѣстѣ. Въ поэзіи Пушкина Петръ рисуется по преимуществу съ величественной героической стороны:

Тогда-то, свыше вдохновенный,
Раздался звучный гласъ Петра:
«За дѣло, съ Богомъ». Изъ шатра,
Толпой любимцевъ окруженный,
Выходитъ Петръ. Его глаза
Сіяютъ. Ликъ его ужасенъ.
Движенья быстры. Онъ прекрасенъ,
Онъ весь, какъ Божія гроза. («Полтава», III).

Стихотвореніе „Пиръ Петра Великаго“ присоединяетъ къ этому образу милосердіе, великодушіе, прощеніе врагу, и, наконецъ „Мѣдный всадникъ“ — послѣднее изъ великихъ, хотя и неоконченныхъ произведеній Пушкина — выражаетъ всѣмъ своимъ смысломъ почти обоготвореніе героической силы. Съ одной стороны, здѣсь — малое счастье малаго, — невѣдомаго коломенскаго чиновника, напоминающаго смиренныхъ героевъ Гоголя или Достоевскаго, простая любовь простого сердца; съ другой — гигантское дѣло могучей воли. Воля героя и возстаніе природной стихіи — наводненіе, бушующее у подножія Мѣднаго всадника; воля героя и возстаніе человѣческой природы противъ нея — вызовъ, брошенный въ лицо герою однимъ изъ безчисленныхъ, обреченныхъ на гибель этой беспощадною волей, — таковъ смыслъ поэмы (Мережковскій). Произведеніе не закончено, и для насъ остается открытымъ вопросъ, кто правъ — герой ли съ его великими задачами и проникновеннымъ взоромъ въ будущее, или же бѣдный безумецъ съ его разрушеннымъ счастьемъ въ настоящемъ, — но симпатіи Пушкина ясны и очевидны.

Обратимся къ религіознымъ взглядамъ Пушкина. Мы знаемъ, что въ молодости Пушкинъ бралъ уроки „чистаго аѳеизма“, по его выраженію, у одного англичанина, который, однако, — пять лѣтъ спустя, — былъ уже ревностнымъ пасторомъ англиканской церкви, и котораго самъ Пушкинъ потомъ называлъ прощальгой.

а уроки его—пошлой болтовней; знаемъ также, что уже въ Михайловскомъ онъ съ любовью читалъ Библию и Четыи Минеи... „Я думаю, — пишетъ Смирнова, — что Пушкинъ серьезно вѣрующій, но онъ про это никогда не говоритъ. Глинка рассказывалъ мнѣ, что онъ разъ засталъ его съ Евангеліемъ въ рукахъ, при чемъ Пушкинъ сказалъ ему: „Вотъ единственная книга въ мірѣ—въ ней все есть!“ „Есть книга“, —говоритъ Пушкинъ въ другомъ мѣстѣ, —коей каждое слово истолковано, объяснено, проповѣдано во всѣхъ концахъ земли, примѣнено ко всевозможнымъ обстоятельствамъ жизни и происшествіямъ міра, изъ коей нельзя повторить ни одинаго выраженія, котораго не знали бы всѣ наизусть, которое не было бы уже пословицею народовъ; она не заключаетъ уже для насъ ничего неизвѣстнаго; но книга эта называется Евангеліемъ, —и такова ея вѣчно юная прелесть, что если мы, пресыщенные міромъ или удрученные уныніемъ, случайно откроемъ ее, то уже не въ силахъ противиться ея сладостному увлеченію, и погружаемся духомъ въ ея божественное краснорѣчіе“. (V, 421).

„Вопросы вѣры превосходятъ разумъ, но не противорѣчатъ ему“... „Я пришелъ, въ концѣ концовъ, къ тому убѣжденію, что человекъ нашелъ Бога именно потому, что Онъ существуетъ. Нельзя найти то, чего нѣтъ, даже въ пластическихъ формахъ, — это мнѣ внушило искусство. *Выдумать форму нельзя; ее надо взять, хотя бы и по частямъ, изъ того, что уже существуетъ.* Нельзя выдумать и чувствъ, мыслей, идей, которыя не прирождены намъ, вмѣстѣ съ тѣмъ таинственнымъ инстинктомъ, который и отличаетъ существо чувствующее и мыслящее отъ существъ, только ощущающихъ. И эта дѣйствительность столь же реальна, какъ все, что мы можемъ трогать, видѣть и испытывать. Въ народѣ есть врожденный инстинктъ этой дѣйствительности, т.-е. *религіозное чувство*, кото-

рое народъ даже не анализируетъ. Онъ предпочитаетъ религіозныя книги, не разсуждая объ ихъ нравственномъ значеніи—онъ просто нравятся народу. И его вкусъ становится понятнымъ, когда начнешь читать Писаніе, потому что въ немъ находишь всю человѣческую жизнь“. „Религія создала искусство и литературу,— все, что было великаго съ самой глубокой древности; все находится въ зависимости отъ религіознаго чувства... Безъ него не было бы ни философіи, ни поэзіи, ни нравственности“. („Записки Смирновой“, 162).

Особенно сильно религіозное настроеніе въ Пушкинѣ обнаруживается, по свидѣтельству Анненкова, съ 1833 г. и выражается многими стихотвореніями послѣднихъ годовъ жизни поэта.

Не оставилъ безъ вниманія Пушкинъ и вопросъ о значеніи Церкви въ Россіи. Еще въ 1822 г. онъ, между прочимъ, писалъ: „Греческое вѣроисповѣданіе, отдѣльное отъ всѣхъ прочихъ, даетъ намъ особенный національный характеръ“. „Въ Россіи вліяніе духовенства столь же было благотворно, сколь пагубно въ земляхъ римско-католическихъ. Тамъ оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое отъ гражданскихъ законовъ, и вѣчно полагало суевѣрныя преграды просвѣщенію. У насъ, напротивъ,—зависа, какъ и всѣ прочія состоянія, отъ единой власти, но огражденное святыней религіи, оно всегда было посредникомъ между народомъ и государемъ... Мы обязаны монахамъ нашею исторіею, слѣдов. и просвѣщеніемъ“. Взглядъ, что православіе есть основа нашего національнаго характера, Пушкинъ раздѣлялъ со всѣми членами литературнаго общества „Арзамасъ“, къ которому самъ принадлежалъ и которое довольно сильно вліяло на него во многихъ отношеніяхъ.

Какъ относился Пушкинъ вообще къ жизни и, слѣдовательно, къ смерти? Каковъ Пушкинъ былъ въ поэзіи, таковъ онъ былъ и въ жизни: простъ, ясенъ, свѣтелъ, жизнерадостенъ. Тихія бесѣды, полныя ума и серьезной думы, онъ обрывалъ нерѣдко смѣхомъ, неожиданной шуткой, эпиграммой; будучи далекъ отъ всякаго литературнаго тщеславія, онъ мало придавалъ значенія своимъ произведеніямъ и всегда съ восторгомъ признавалъ громадное значеніе за произведеніями своихъ друзей и товарищей, искренно радуясь всякому ихъ успѣху и будучи всегда радъ помочь имъ, чѣмъ могъ. Но, отзываясь полно и радостно на радостныя впечатлѣнія жизни, Пушкинъ не закрывалъ глазъ и на уродливыя и пошлыя ея стороны, и отсюда—не разъ у него вслѣдъ за строфой, полной возвышеннаго лиризма, слѣдуетъ строфа, рѣзко подчеркивающая эту пошлую сторону жизни (какъ, напр., въ сценѣ дуэли и смерти Ленскаго).

Такъ же прямо и просто относился поэтъ и къ своей жизни:

Такъ, полдень мой насталъ, и нужно
Мнѣ въ томъ сознаться, вижу я,
Но, такъ и быть, простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милыя мученья,
За шумъ, за бури, за пиры,
За все, за всѣ твои дары,
Благодарю тебя. Тобою
Среди тревогъ и въ тишинѣ
Я наслаждался... и вполнѣ—
Довольно! Съ ясною душою
Пускаюсь нынѣ въ новый путь
Отъ жизни прошлой отдохнуть.

„Опять хандрить!—пишетъ онъ Плетневу въ 1831 г.—Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убиваетъ

только тѣло, другая убиваетъ душу. Дельвигъ умеръ, Молчановъ умеръ; погоди, умретъ и Жуковскій, умремъ и мы. Но жизнь еще богата; мы встрѣтимъ еще новыхъ знакомцевъ, новые созрѣютъ намъ друзья, дочь у тебя будетъ расти, вырастетъ невѣстой. Мы будемъ старые хрычи, жены наши старыя хрычовки, а дѣтки будутъ славные, молодые, веселые ребята; мальчики будутъ повѣсничать, а дѣвчонки сентиментальничать, а намъ-то и любо. Вздоръ, душа моя... Были бы мы живы, будемъ когда-нибудь и веселы“. Пушкинъ смотритъ на смерть спокойно, какъ люди, близкіе къ природѣ, какъ смотритъ простой русскій человѣкъ... „Правъ судьбы законъ. Все благо: бдѣнія и сна приходитъ часъ опредѣленный. Благословенъ и день заботъ, благословенъ и тьмы приходъ!“

День каждый, каждую годину,

говоритъ Пушкинъ въ одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній,—

Привыкъ я думой провожать,—
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараясь угадать.

Но эта постоянная дума о смерти не оставляетъ въ сердцѣ его горечи, не нарушаетъ его душевной ясности:

Пируйте же, пока еще мы тутъ.
Увы! Нашъ кругъ часъ отъ часу рѣдѣтъ;
Кто въ гробѣ спитъ, кто дальній сиротѣтъ;
Судьба глядитъ; мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему.
...Покамѣстъ, упивайтесь ею,
Сей легкой жизнію, друзья!...

Онъ не жертвуетъ для смерти *ничѣмъ живымъ*. Онъ любить *красоту*, и сама смерть плѣняетъ его „красою тихою, блистающей смиренно“, какъ осени „унылая пора, очей очарованье“. Онъ любитъ *молодость*, и молодость у него торжествуетъ надъ смертию:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое... Не я
Увижу твой могучій поздній возрастъ,
Когда перерастешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь...

Онъ любитъ *славу*, и она не кажется ему суетной даже предъ безмолвіемъ вѣчности:

Безъ непримѣтнаго слѣда
Мнѣ было бѣ грустно міръ оставить.
Живу, пишу не для похвалъ,
Но я бы, кажется, желалъ
Печальный жребій свой прославить,
Чтобъ обо мнѣ, какъ вѣрный другъ,
Напомнилъ хоть единый звукъ.

Онъ любитъ *родную землю*:

И хоть безчувственному тѣлу
Равно повсюду истлѣвать,
Но ближе къ милому предѣлу
Мнѣ все бѣ хотѣлось почивать.

Среди скорбящихъ, проклинающихъ, дрожащихъ въ ужасѣ передъ смертию, какъ будто изъ другого міра,—говоритъ г. Мезежковскій,—изъ другого вѣка доносится къ намъ пушкинское—грустное, но мирное и ясное—завѣщаніе:

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять.

Въ *лирикѣ* пушкинской, сравнительно съ другими видами поэзіи, болѣе всего и естественнѣе всего долженъ былъ выразиться внутренній міръ *поэта* — все то, что занимало, волновало, мучило, радовало и печалило его въ жизни, и можно сказать безъ преувеличенія, что сравнительно съ пушкинскимъ внутреннимъ міромъ и отношеніемъ его къ міру внѣшнему, внутренній міръ всякаго другого лирика кажется намъ одностороннимъ и узкимъ. Здоровое, сильное, жизненное чувство всегда проникаетъ стихотворенія Пушкина; оно всегда тихо, кротко и, вмѣстѣ съ тѣмъ, всегда глубоко, человѣчно, гуманно. „Это не поэтическая ложь, разгорячающая воображеніе, — замѣчаетъ Бѣлинскій — ложь, которая ставитъ человѣка во враждебныя отношенія къ дѣйствительности при первомъ же столкновеніи съ нею и заставляетъ безвременно и безплодно истощать свои силы въ гибельной съ нею борьбѣ“. Пушкинъ ничего не отрицаетъ, ничего не проклинаетъ, на все смотритъ съ любовью и благословеніемъ. Въ своемъ художественномъ созерцаніи онъ чуждъ пристрастія и къ радости и къ горю людскому — и ту и другое онъ умѣетъ сочетать въ одномъ гармоническомъ настроеніи — *сложномъ*, какъ сложна сама жизнь, *естественномъ*, какъ естествененъ бываетъ лѣтомъ дождь при солнечномъ сіяніи, какъ естественна и понятна намъ улыбка сквозь слезы. Это отсутствіе въ лирикѣ Пушкина какого-то *одного* преобладающаго чувства, при поражающемъ богатствѣ душевныхъ струнъ, затрогиваемыхъ ею, — и обуславливаетъ то миротворящее и проясняющее впечатлѣніе, какое она производитъ на читателя. Зависитъ послѣднее, конечно, и оттого, что всѣ элементы лирики Пушкина, коренятся въ душѣ человѣческой, при отсутствіи всего фантастическаго, сверхъестественнаго, недосягаемаго. Не уклоняя нашихъ духовныхъ силъ въ міръ грезъ и мечтаній, подобно многимъ другимъ поэтамъ, Пуш-

кинъ сосредоточиваетъ ихъ на *дѣйствительной* жизни; душа человѣка находитъ у него свои радости и средства противъ горя въ природѣ своего собственнаго существа, а не въ безцѣльныхъ попыткахъ уйти отъ самой себя *).

Во всѣхъ этихъ особенностяхъ пушкинской лирики заключается ея огромное воспитательное значеніе: она могущественно вліяетъ на образованіе и развитіе въ человѣкѣ изящно-гуманнаго *чувства* и, вмѣстѣ съ тѣмъ, возбуждаетъ благородныя *мысли* и добрыя *стремленія*, гармонически развивая, такимъ образомъ, всѣ стороны нашей духовной природы.

Нѣкоторыя данныя біографіи Пушкина говорятъ намъ, что поэтъ какъ бы предчувствовалъ преждевременный конецъ свой и спѣшилъ и *жить* и *создавать*. Все великое, данное Пушкинымъ русской литературѣ, есть плодъ менѣе, чѣмъ двадцатилѣтней дѣятельности.

Жизнь текла, и нѣкогда столь веселая и шаловливая муза Пушкина принимала мало-по-малу все болѣе задумчивый и серьезный характеръ. Весьма наглядно выражаетъ намъ этотъ переходъ неоконченная элегія на 19 окт. 1836 г.:

Была пора: нашъ праздникъ молодой
(говорить въ ней Пушкинъ)
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался,
И съ пѣснями бокаловъ звонъ мѣшался,
И тѣсною сидѣли мы толпой.
Тогда, — душой безпечные невѣжды, —
Мы жили всѣ и легче и смѣлѣй,
Мы пили всѣ за здравіе надежды
И юности и всѣхъ ея затѣй.
Теперь не то: разгульный праздникъ нашъ
Съ приходомъ лѣтъ, какъ мы, перебѣсилъ;

*) См. взглядъ на Пушкина въ книгѣ кн. Волконскаго: „Лекціи по русской исторіи и литературѣ“.

Онъ присмирѣлъ, утихъ, остепенился;
Сталь глуше звонъ его заздравныхъ чашъ;
Межъ нами рѣчь не такъ игриво льется;
Просторнѣе, грустнѣе мы сидимъ;
И рѣже смѣхъ средь пѣсенъ раздается;
И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ.
Всему пора. Ужъ 25-й разъ
Мы празднуемъ лица день завѣтный;
Прошли года чредою незамѣтной,
И какъ они перемѣнили насъ!
Не даромъ, нѣтъ, промчалась четверть вѣка!
Не сѣтуйте: таковъ судьбы законъ—
Вращается весь міръ вокругъ человѣка,—
Ужель одинъ недвижимъ будетъ онъ?

Какъ рассказываютъ, Пушкинъ, при чтеніи этихъ стиховъ за столомъ, отъ волненія не могъ кончить ихъ и, пересѣвъ на диванъ, закрылъ лицо руками и заплакалъ. Давно томившее поэта предчувствіе, къ несчастію, на этотъ разъ оправдалось: 29 января 1837 г. Пушкина не стало.

29 января 1897 года исполнилось 60 лѣтъ со дня смерти великаго поэта. Различно было отношеніе къ нему русскаго общества и при жизни и послѣ смерти за эти 60 лѣтъ. Были періоды восторга и поклоненія, былъ періодъ и непониманія и охлажденія къ поэту.

5, 6, 7, 8 іюля 1880 г. посвящены были торжественному открытію въ Москвѣ памятника Пушкину. Въ эти дни вся мыслящая Россія слилась въ одно при оцѣнкѣ поэта, со всѣхъ сторонъ летѣли въ Москву телеграммы, поздравительныя письма. Тѣ, кто не имѣлъ возможности лично прибыть въ Москву, соединились съ чествовавшими въ одномъ чувствѣ, въ чаяніи чего-то лучшаго, свѣтлаго. Свѣтила иностранной литературы тоже прислали привѣтъ благодарному празднику. Это были дни — по выраженію очевидца — святого восторга, — вдохновеннаго

трепета, охватившаго русское общество предъ чистымъ образомъ своего генія, которому впервые удалось проложить новые пути къ окрѣпленію и свободному развитію нашей общественной мысли. На этомъ литературно - общественномъ торжествѣ, нашедшемъ себѣ откликъ въ Петербургѣ, во многихъ другихъ городахъ, во всей печати нашей, произнесено было множество рѣчей, чтеній, адресовъ, и всѣ они, при всемъ разнообразіи своего содержанія, сходились въ одномъ: Пушкинъ—великій поэтъ и глубоко и честно мыслившій человѣкъ. Его образцы художественны, полны жизни и правды, его мысли чисты и возвышенны, его идеалы высоки и благородны. Вездѣ и во всемъ онъ умѣлъ подмѣтить *красоту* и облечь ее въ свѣтлыя, изящныя одежды—красоту *природы*, красоту *души* человѣческой, если даже эта душа пала и обезображена.

И долго буду тѣмъ народу я любезенъ
(говорить самъ о себѣ Пушкинъ),
Что чувства добрыя я лирой возбуждалъ,
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ,
И милость къ падшимъ призывалъ.

И эта самооцѣнка поэта поразительна по своей простотѣ, ясности и точности.

29 января 1887 г. снова повторилось торжественное признаніе русскимъ обществомъ великихъ заслугъ великаго поэта, по поводу *50-лѣтія* со дня его безвременной кончины, и еще разъ, еще съ большею ясностью и отчетливостью всѣ признали, что *созданія Пушкина—одно изъ нашихъ главныхъ правъ на имя великаго народа*, и что съ величіемъ поэта въ Пушкинѣ неразрывно связана и нравственно-возвышенная, благородная человѣческая личность.

Безсмертенъ тотъ, чья муза до конца
Добру и красотѣ не измѣняла,—

скажемъ въ заключеніе о нашемъ поэтѣ стихами
Плещеева:

Кто волновать умѣлъ людей сердца
И въ нихъ будить стремленье къ идеалу;
Кто сердцемъ чистъ средь пошлости людской,
Средь лжи кто вѣренъ правдѣ оставался,
И кто берегъ ревниво свѣточъ свой,
Когда на міръ унылый мракъ спускался...
И все еще горитъ намъ свѣточъ тотъ,
Все геній твой пути намъ освѣщаетъ...
Чтобъ духомъ мы не пали средь невзгодъ,
О красотѣ и правдѣ онъ вѣщаетъ.
Всѣ лучшіе порывы посвятить
Отчизнѣ ты зовешь насъ изъ могилы;
Зовешь добру и истинѣ служить...
Вотъ почему неизгладимый слѣдъ
Тобой оставленъ въ памяти народной;
Вотъ почему, возлюбленный поэтъ,
Такъ дорогъ намъ твой образъ благородный!..

II.

Н. В. Гоголь.

Начало прошлаго столѣтія ознаменовалось въ исторіи нашего политическаго и общественнаго развитія многими, в. замѣчательными явленіями. Это было время сильнаго подъема патріотическаго духа, особенно благодаря войнѣ съ Наполеономъ; время просвѣтительныхъ и либеральныхъ реформъ императора Александра I, — время усиленнаго стремленія — въ лучшей части общества — къ просвѣщенію, къ сознательному и всестороннему ознакомленію съ европейскою цивилизаціей. Литература, характеръ, которой всегда болѣе или менѣе зависитъ отъ настроенія и

состоянія общественной жизни, тоже обнаружила новыя силы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣшительное стремленіе къ освобожденію отъ тѣхъ иноземныхъ вліяній, которыя такъ долго задерживали ея самостоятельное развитіе. Знакомство съ литературой нѣмецкой, англійской и др., особенно благодаря поэтической дѣятельности Жуковскаго и Батюшкова, также не малѣе содѣйствовало тому, что молодые русскіе писатели первой четверти XIX столѣтія рѣшительно, наконецъ, вступили на тотъ путь, который одинъ только и можетъ сдѣлать литературу общественной, образовательной и воспитательной силой, на путь тѣсной связи литературы съ жизнью, близкое знакомство съ котрою, съ ея духомъ, воззрѣніями и явленіями, только одно и можетъ дать и глубоко захватывающій интересъ содержанію литературныхъ произведеній, и высокія качества формъ ихъ, слогу и языку.

Здѣсь, прежде всего, намъ слѣдуетъ назвать А. С. Грибоѣдова, давшего намъ въ 1823 г. первый высокоталантливый образецъ національной, полной русскаго ума и жизни,—бытовой *комедіи*—„Горе отъ ума“,—и затѣмъ и преимущественно А. С. Пушкина, который, освободившись къ этому времени отъ различныхъ—и русскихъ и иноземныхъ—литературныхъ вліяній, въ томъ же 1823 г. выпустилъ въ свѣтъ первыя двѣ главы перваго русскаго бытового *романа* „Евгеній Онѣгинъ“. Съ этого пути—пути самобытнаго развитія и глубоко-жизненнаго содержанія—литература русская уже болѣе не сходила и вскорѣ пріобрѣла общеевропейское значеніе, въ настоящее время, напр., даже подчиняя отчасти своему вліянію западную литературу. „Сколько было жизненнаго и органическаго въ этомъ новомъ движеніи, — замѣчаетъ г. Пыпинъ („Вѣстникъ Европы“ 1895, XII, 693...),—можно видѣть изъ поразительнаго ряда быстро слѣдовавшихъ одно за другимъ литературныхъ поколѣній. Эти поколѣнія

нарождались такъ: десятью годами моложе Пушкина былъ Гоголь (1809 г.), а также Кольцовъ; затѣмъ въ 1814 г. родился Лермонтовъ, въ 1818 г.—Тургеневъ, въ 1826 г.—Салтыковъ, въ 1828 г. гр. Л. Толстой; все это имена, съ которыми соединяются великіе факты русской поэзіи; когда наступало развитіе ихъ дѣятельности, русская литература совершала великія пріобрѣтенія вполнѣ самостоятельнаго національнаго значенія. Съ другой стороны, слѣдуетъ обратить вниманіе и на то, что литературная дѣятельность стала чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе захватывать въ свой кругъ представителей самыхъ разнообразныхъ слоевъ русской общественной жизни, стала постепенно спускаться съ той олимпійской высоты, на которой она сосредоточивалась въ XVIII вѣкѣ, въ средніе и низшіе слои общественной жизни, въ народную массу.

Однимъ изъ самыхъ вліятельныхъ дѣятелей въ этомъ процессѣ нашего литературнаго развитія послѣ Пушкина слѣдуетъ считать Н. В. Гоголя. Вслѣдъ за великимъ писателемъ-великороссомъ, является другой великій писатель, но уже изъ чисто малорусской среды, который писалъ по-русски, но внесъ въ литературу элементъ малорусскій, который до того времени не имѣлъ въ ней никакого особаго значенія и который, тѣмъ не менѣе, рано или поздно, долженъ былъ выразиться въ ней, если наша литература должна служить выраженіемъ духовной жизни всего русскаго народа. Правда, писатели изъ малороссовъ были у насъ и до Гоголя, но дѣятельность ихъ была или тѣсно ограничена церковно-схоластической областью, какъ, напр., дѣятельность Симеона Полоцкаго, Стефана Яворскаго, Θεοφана Прокоповича, или же шла обычнымъ для всѣхъ подражательнымъ путемъ и не вносила ничего новаго, оригинальнаго изъ своихъ племенныхъ особенностей, изъ южно-русскаго характера и быта, какъ, напр., дѣятельность Богдановича,

Капниста, Гнѣдича. Между тѣмъ, интересъ къ малорусской жизни сталъ пробуждаться въ русской средѣ еще съ 70-хъ годовъ прошлаго столѣтія, и когда Гоголь пріѣхалъ въ Петербургъ (1829), то, по его собственнымъ словамъ, тамъ было въ ходу все малоросійское, что и побудило его тогда обратиться въ своихъ первыхъ произведеніяхъ къ изображенію малоросійской жизни и преданій. Такимъ образомъ, замѣчаетъ г. Пыпинъ, въ дѣятельности малоросса Гоголя, сразу получившей общерусское значеніе, выразилась, прежде всего, та историческая связь двухъ племенныхъ элементовъ, которая обстоятельствами была разорвана, но которая всегда сознавалась русскимъ народомъ. И въ первыхъ произведеніяхъ молодого писателя русскій литературный кругъ и общество привѣтствовали не только выдающійся и оригинальный талантъ, но и выраженіе духовнаго единенія двухъ отраслей русской національности. Но слѣдующія произведенія Гоголя оказались еще многозначительнѣе: его проницательное наблюденіе все расширяло свой горизонтъ, обнимало все болѣе и болѣе широкій кругъ русской и общественной жизни, и развитіе писателя завершилось мечтами о грандіозномъ „Левіаѳанѣ“, которому надлежало обнять собою всю русскую жизнь; но эти мечты такъ и остались не выполненными, а художественное творчество Гоголя и даже самая его жизнь потерпѣли, въ связи съ ними, полное крушеніе.

Какъ извѣстно *), уже Пушкинъ въ зрѣлыхъ своихъ произведеніяхъ, особенно же въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ и повѣстяхъ, является предъ нами истиннымъ писателемъ-реалистомъ, который далъ русской литературѣ первые образцы того, какъ слѣдуетъ относиться поэту къ русской дѣйствительности, не прикрашивая и не унижая ея; но не слѣдуетъ упускать изъ виду, и того,

*) См. выше.

что Пушкинъ интересовался не одной только русской жизнью: какъ поэтъ-художникъ, поэтъ, искавшій и въ природѣ и въ жизни по преимуществу положительно-прекраснаго и какъ бы старавшійся показать своими произведеніями, *что такое истинная поэзія*, взятая сама по себѣ, поэзія вполне самостоятельная и независимая отъ какихъ-либо побочныхъ цѣлей — Пушкинъ черпалъ содержаніе для своихъ произведеній изъ самыхъ разнообразныхъ сферъ жизни, если только онѣ представляли матеріалъ, удобный для художественнаго воспроизведенія: на ряду съ повѣстями Бѣлкина, Капитанской дочкой и пр., у Пушкина мы находимъ „Скупого рыцаря“, „Каменнаго гостя“, „Пиръ во время чумы“, „Моцартъ и Сальери“ и другія высокохудожественныя, но ничего общаго съ русскою жизнью не имѣющія произведенія. Поэзія Пушкина, будучи вообще чуткимъ эхо всѣхъ впечатлѣній дѣйствительности, не имѣла, такъ сказать, сосредоточенности въ своемъ содержаніи на какомъ-либо одномъ предметѣ, — одномъ общественномъ вопросѣ или группѣ вопросовъ. Она была всеобъемлюща, вмѣщала въ себѣ „и сѣверъ и западъ и востокъ“. „Чтеніе поэтовъ всѣхъ народовъ и вѣковъ, — говоритъ Гоголь, — порождало въ Пушкинѣ откликъ, и какъ вѣренъ его откликъ, какъ чутко его ухо! Слышишь запахъ, цвѣтъ земли, времени, народа. Въ Испаніи онъ испанецъ, съ грекомъ — грекъ, на Кавказѣ — вольный горецъ, въ полномъ смыслѣ этого слова; съ отжившимъ человѣкомъ онъ дышитъ стариною времени минувшаго; заглянетъ къ мужику въ избу — онъ русскій весь съ головы до ногъ; всѣ черты нашей природы въ немъ отозвались, и все окинуто иногда однимъ словомъ, однимъ чутко найденнымъ и мѣтко прибраннымъ прилагательнымъ именемъ“. Поэзія Пушкина одинаково интересовалась и близкимъ и далекимъ, и современнымъ и историческимъ, одинаково объективно и безстрастно могла воспроизводить

и далекую иноземную, и близкую современную русскую жизнь; но именно этою своей способностью она и перестала удовлетворять многих... Отсутствие въ ней энергичныхъ протестовъ противъ диссонансовъ и противорѣчій жизни, отсутствіе настойчиваго и рѣзкаго обличенія ея лжи и зла признано было ея недостатками... „Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія,—говоритъ Бѣлинскій,—страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило (для современниковъ) того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго“ (VIII, 402). Общество стало искать въ поэзіи уроковъ, болѣе тѣсной связи ея съ житейскими волненіями и битвами, отъ которыхъ уклонялась кроткая и изящная пушкинская муза... И вотъ явился Гоголь—одинъ изъ самыхъ ревностныхъ почитателей и цѣнителей Пушкина и понятый лучше другихъ именно Пушкинымъ, прямой продолжатель его въ дѣлѣ художественнаго воспроизведенія русской дѣйствительности, писатель, далеко не такой всеобъемлющій, какъ Пушкинъ, сравнительно съ нимъ даже односторонній, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, существеннымъ образомъ его дополнявшій. „Обо мнѣ много говорили,—объясняетъ самъ Гоголь,—но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставять такъ ярко *пошлость жизни*, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго чело-вѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ изъ глазъ, мелькнула крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее; вотъ въ чемъ мое главное достоинство“. Именно этотъ даръ, эта способность наблюденія *пошлости* житейской и

притомъ не съ цѣлью только художественнаго, строго-объективнаго ея изображенія а въ тонѣ глубокаго потрясающаго юмора, раскрывающаго внутренній—печальный—смыслъ обыденной жизни, и отличаетъ произведенія Гоголя отъ произведенийъ всѣхъ его современниковъ и составляетъ ихъ силу и значеніе. Многозначительность ихъ для русскаго общества и заключалась въ томъ именно живомъ чувствѣ современности, которымъ они были проникнуты; въ той именно сосредоточенности новаго писателя, съ которой онъ—съ каждымъ новымъ своимъ созданіемъ—все сильнѣе и сильнѣе билъ въ глаза обществу яркимъ изображеніемъ всей его пошлости, всей тины мелочей, — опутывающихъ пошлаго человѣка, всѣхъ тѣхъ уклоненій отъ долга нравственно-разумнаго существа, отъ законности и справедливости,—уклоненій, съ которыми постоянно приходилось встрѣчаться наблюдательному писателю въ окружавшей его жизни.

Съ Гоголемъ вступилъ, такимъ образомъ, въ русскую литературу *новый тонъ* искусства, и Пушкинъ былъ въ числѣ первыхъ, которые въ самомъ началѣ признали его законность и его сильное дѣйствіе *).

Уже во время созданія первыхъ—дов. безпритязательныхъ, но истинно живыхъ и веселыхъ — своихъ произведенийъ—въ Гоголѣ обращаетъ на себя вниманіе та мысль, которую, по словамъ Анненкова („Воспоминанія“ I, 190), онъ приносилъ въ то время повсюду. „Мы говоримъ, — продолжаетъ Анненковъ, — объ энергичномъ пониманіи вреда, приносимаго пошлостью, лѣнью,

*) Въ послѣднее время относительно выясненія условій, благодаря которымъ такъ, а не иначе сложились жизнь и личный характеръ Гоголя, и развился его талантъ, особенно много сдѣлано г. Шенрокомъ. Его работы о Гоголѣ и слѣдуетъ рекомендовать желающимъ въ подробностяхъ познакомиться съ личностью этого великаго писателя; болѣе общую характеристику можно найти въ статьяхъ г. Пыпина въ „Литературныхъ характеристикахъ“, въ „Вѣстникѣ Европы“ за 1895—96 гг. и др.

потворствомъ злу, съ одной стороны, и грубымъ самодовольствомъ, кичливостью и ничтожествомъ моральныхъ основаній—съ другой... Въ его преслѣдованіи темныхъ сторонъ человѣческаго существованія была страсть, которая и составляла истинное нравственное выраженіе его фizioноміи. Онъ и не думалъ еще тогда представлять свою дѣятельность, какъ подвигъ личнаго совершенствованія“ (къ чему онъ пришелъ въ послѣдствіи)... „Онъ ненавидѣлъ пошлость откровенно и наносилъ ей удары, къ какимъ только была способна рука его, съ единственною цѣлью потрясти ее, если можно, въ основаніи... Честь безкорыстной борьбы за добро, во имя только самого добра и по одному только отвращенію къ извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголемъ этой эпохи, даже и противъ него самого, если бы нужно было“.

Съ самаго начала Гоголя влекло къ наблюденію надъ обществомъ и къ дѣйствію на него; поэтому, онъ довольно скоро охладѣлъ къ своимъ „Вечерамъ на Хуторѣ“, и хотя еще разъ возвратился къ малороссійскимъ темамъ въ „Миргородѣ“, но тонъ рассказовъ былъ уже иной... Въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“, въ повѣсти о ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ выступаютъ уже психологическія задачи, въ авторскомъ смѣхѣ надъ человѣческою пошлостью уже слышатся слезы надъ духовнымъ паденіемъ человѣка.

Еще болѣе глубокое впечатлѣніе произвели повѣсти, появившіяся во второй половинѣ 30-хъ годовъ и около 1840 г. Положимъ, сюжеты были, попрежнему, довольно мелки и даже анекдотичны: исторія объ украденной у мелкаго чиновника шинели; повѣствованіе о пропажѣ носа у коллежскаго асессора,—о помѣщикѣ, который въ пьяномъ видѣ зазвалъ къ себѣ въ гости господъ офицеровъ, но забылъ объ этомъ, и когда они пріѣхали, спрятался отъ нихъ въ коляску; исторіи

о художникахъ и объ ихъ отношеніи къ искусству, печальная исторія, наконецъ, другого мелкаго чиновника, помѣшавшагося на вопросѣ о своемъ достоинствѣ,—но во всѣ эти, шуточные, повидимому, исторіи было вложено такое обиліе реальныхъ бытовыхъ подробностей, столько психологической проницательности и глубины, столько, наконецъ, остроумія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, изобличенія общественной пошлости, что, сравнительно со всѣмъ предшествующимъ имъ въ русской литературѣ, эти произведенія являлись еще небывалымъ откровеніемъ художественнаго творчества, которое обращалось въ нихъ съ сердечнымъ чувствомъ къ общественной массѣ и, вмѣстѣ съ художественнымъ наслажденіемъ, доставляло читателю высокое нравственное возбужденіе, будило общественное сознаніе. Между писателемъ и читателемъ устанавливалась, такимъ образомъ, духовная связь, которая должна была благотворно вліять и на общественное развитіе.

Столь же своеобразной и оригинальной явилась и полная глубокаго общественнаго значенія знаменитая комедія Гоголя, сюжетъ для которой, впрочемъ, данъ былъ ему Пушкинымъ, какъ и сюжетъ „Мертвыхъ душъ“. Мы знаемъ, какъ была принята эта комедія... „Всѣ противъ меня“,—пишетъ Гоголь въ апр. 1836 г. артисту Щепкину:—„чиновники, пожилые и очтенные, кричатъ, что у меня нѣтъ ничего святого, когда я дерзнулъ такъ говорить о служащихъ людяхъ; полицейскіе противъ меня; купцы противъ меня; литераторы противъ меня. Бранятъ, а ходятъ на пьесу... Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя ни за что не была бы на сценѣ... Теперь я вижу, что значитъ быть комическимъ писателемъ. Малѣйшій признакъ истины, и противъ тебя возстанетъ—и не одинъ, а цѣлая сословія“. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Гоголь понимаетъ, что въ пріемѣ „Ревизора“ выражается характеръ массы общества, степень ея развитія, сте-

пень очень низменная и жалкая. „Грустно мнѣ это всеобщее невѣжество, движущее столицу, — пишетъ онъ въ другомъ письмѣ...—Грустно, когда видишь, въ какомъ жалкомъ состояніи находится у насъ писатель... Выведены на сцену плуты, и всѣ въ ожесточеніи... Прискорбна мнѣ эта невѣжественная раздражительность, — признакъ глубокаго, упорнаго невѣжества, разлитого на наши классы“. Но, конечно, это же ожесточеніе, эта же раздражительность свидѣтельствовали и о многозначительности для общества такого произведенія, какъ „Ревизоръ“. Многие поняли, что въ этой, повидимому анекдотической картинѣ провинціальной глуши, отразились и *общія* основы господствующаго быта, понятій и стремленій, *общій* — оч. низменный — уровень общественной жизни. Съ своей точки зрѣнія не ошибались, конечно, и чиновники, усматривая въ пьесѣ непопозволительное вольнодумство. Впервые литературное произведеніе рѣшилось такъ смѣло и рѣзко нарушить старинный и крѣпкій чиновническій принципъ, — принципъ неприкосновенности чиновническихъ дѣйствій для какого-либо вмѣшательства общественнаго мнѣнія... Въ то время на бумагѣ „все обстояло благополучно“, все продѣлывалось домашнимъ образомъ, и было шито и крыто; разъ допустить въ эти дѣла вмѣшательство общественнаго мнѣнія въ лицѣ писателя, значило сдѣлать опасную уступку: за первымъ обличеніемъ послѣдуютъ и другія, и къ чему же это все должно привести? Въ глазахъ чиновниковъ осмѣяніе городничаго было, дѣйствительно, осмѣяніемъ правительства. Не даромъ нѣкоторые (по свидѣтельству князя Вяземскаго) приравнивали „Ревизора“ по его политическому значенію къ извѣстной комедіи Бомарше.

Противъ Гоголя были, наконецъ, и литераторы старой школы, въ родѣ Булгарина, Греча и т. п., которые какъ въ „Ревизорѣ“, такъ и въ другихъ произведеніяхъ Гоголя, видѣли только малороссійское

шутовство, грязь и грубость, и не понимали той глубоко-серьезной идеи, которую вносилъ въ литературу Гоголь—не понимали значенія непосредственнаго изображенія жизни безъ всякихъ искусственныхъ приѣмовъ и—*какова бы эта жизнь ни была сама по себѣ*. — Всѣ разнообразныя толки, возбужденныя въ обществѣ „Ревизоромъ“, равно какъ и личные свои взгляды на значеніе поэзіи вообще и комедіи въ частности, Гоголь, какъ извѣстно, воспроизвелъ въ своемъ „Театральномъ разъѣздѣ“ послѣ представленія новой комедіи“.

Еще ранѣе, чѣмъ вышелъ въ свѣтъ „Ревизоръ“, приблизительно съ 1834—35 г., по мнѣнію Тихонравова, началъ Гоголь свою работу надъ поэмой „Мертвыя души“. Но въ свѣтъ она вышла гораздо позднѣе „Ревизора“ — въ періодъ пребыванія Гоголя за границей. Если принять во вниманіе при этомъ, что Гоголь до самой смерти былъ озабоченъ пересмотромъ и исправленіемъ этого произведенія, что изъ 23-хъ лѣтъ его писательской дѣятельности 18 ушло на обдумываніе и создаваніе поэмы, прерываемое не разъ тяжелыми періодами недовѣрія къ себѣ и сомнѣній, то станетъ ясною та первостепенная роль, какую это произведеніе играло въ жизни автора. По собственнымъ словамъ Гоголя, исторія „Мертвыхъ душъ“ является исторіей его собственной души.

Какъ извѣстно, въ жизни и дѣятельности Гоголя большое значеніе имѣлъ Пушкинъ, съ которымъ Гоголь познакомился черезъ Плетнева въ періодъ первыхъ же своихъ литературныхъ опытовъ (1829—1835 гг.)—вскорѣ по приѣздѣ изъ Малороссіи въ Петербургъ. Пушкинъ весьма внимательно и участливо отнесся къ начинающему писателю и затѣмъ до самой смерти не переставалъ вліять на него самымъ благотѣльнымъ образомъ, разъясняя ему и вопросы искусства, и явленія жизни, и заботясь, такимъ образомъ, о художественномъ, такъ сказать, воспитаніи

геніальнаго юноши, получившаго, къ сожалѣнію, весьма незначительное образованіе и, тѣмъ не менѣе, весьма самонадѣяннаго. Ставя въ примѣръ Гоголю Мольера и Сервантеса и привѣтствуя каждый новый шагъ его впередъ въ дѣлѣ пониманія задачъ писателя, Пушкинъ не переставалъ напоминать Гоголю о необходимости посвятить свои силы большому сочиненію, которое охватывало бы всю русскую жизнь. Какъ замѣчено уже было выше, онъ далъ Гоголю сюжетъ „Ревизора“, а затѣмъ, когда онъ счелъ Гоголя достаточно подготовленнымъ и для болѣе обширнаго сочиненія, уступилъ ему и сюжетъ „Мертвыхъ душъ“,—сюжетъ, которымъ онъ хотѣлъ сначала воспользоваться самъ, въ то время, когда, „презрѣвъ Фебовы угрозы, онъ рѣшилъ унизиться до смиренной прозы“. „На этотъ разъ я и самъ уже задумался серьезно“, говоритъ объ этомъ моментѣ самъ Гоголь,—и приступилъ къ работѣ, которая, однако, такъ и осталась не оконченной. Когда Гоголь приступилъ къ работѣ, сила непосредственнаго, неудержимаго смѣха еще была въ немъ ключомъ, и онъ не опредѣлилъ еще себѣ обстоятельнаго плана, не далъ себѣ отчета, что такое именно долженъ быть самъ герой *). Это была еще эпоха самага сильнаго развитія юмора Гоголя и комизма, освѣщенныхъ глубокимъ человѣчнымъ чувствомъ, когда онъ творилъ еще непосредственно, подчиняясь наиболѣе плодотворнымъ особенностямъ своего таланта, въ томъ уже духѣ, въ какомъ написаны наиболѣе глубокія изъ повѣстей „Миргорода“,—петербургскихъ, въ какомъ написанъ „Ревизоръ“.

Но скоро въ Гоголѣ стало обнаруживаться совсѣмъ другое настроеніе. Частію въ связи съ природными особенностями и физической и духовной личности Гоголя, частію подъ вліяніемъ внѣшнихъ обстоятельствъ,

*) См. книгу проф. Веселовскаго „Этюды и характеристики“, 558 стр.

въ Гоголѣ надъ художникомъ начинается мало-по-малу брать верхъ моралистъ, который мистически смотритъ на свое призваніе и произведенія и, наконецъ, доходить до того, что въ своей „Перепискѣ съ друзьями“ (1846 г.) прямо заявляетъ, что всѣ его созданія—ложь и клевета на Россію, и проситъ ихъ уничтожить. Особенно болѣзненно подѣйствовала на Гоголя преждевременная смерть Пушкина, который, какъ уже замѣчено выше, всегда вліялъ на Гоголя самымъ ободряющимъ и освѣжающимъ образомъ. Гоголь чувствовалъ, что въ Пушкинѣ онъ потерялъ почти все, потому что никто изъ его друзей не смотрѣлъ на него такъ прямо и такъ просто, какъ Пушкинъ, никто его такъ не понималъ. Иванъ Аксаковъ („Русь“, 1880, 4) увѣренъ даже, что смерть Пушкина была единственной причиной всѣхъ болѣзненныхъ явленій духа Гоголя.

Это новое настроеніе не замедлило отразиться и на „Мертвыхъ душахъ“, — сначала довольно слабо, въ видѣ нѣсколькихъ отступленій, въ которыхъ говорится о „грознай вьюгѣ вдохновенья, которая подымется изъ облеченной въ святой ужасъ и блистаніе главы“, о „величавомъ громѣ“ другихъ рѣчей и т. п., а затѣмъ—въ фальшивомъ и безплодномъ стремленіи вывести на ряду съ Чичиковымъ — „мужа, одареннаго божественными доблестями“, „чудную русскую дѣвицу, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ“, и т. п. Бѣлинскій ставитъ Гоголю въ великую заслугу, что въ „Мертвыхъ душахъ“ осязательно выступаетъ *глубокая и гуманная субъективность*, которая въ художникѣ обнаруживаетъ *человѣка* съ горячимъ сердцемъ, симпатичною душою, — та субъективность, которая не допускаетъ его съ апатическимъ равнодушіемъ быть чуждымъ міру, имъ рисуемому, но заставляетъ его проводить чрезъ свою душу живую явленія внѣшняго міра, а чрезъ то и въ нихъ вдыхать душу живую. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Бѣлинскій скоро замѣтилъ, по поводу 2-го изд. „Мер-

твыхъ душъ“, и недостатки ихъ, — вездѣ, гдѣ художникъ стремится сдѣлаться какимъ-то прорицателемъ и напыщеннымъ лирикомъ. Вскорѣ затѣмъ появленіе „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями“ наполнило критика уже величайшею скорбью и негодованіемъ, которыя онъ и высказалъ въ извѣстномъ своемъ письмѣ Гоголю.

Но Гоголь уже приближался къ концу, мучительно страдая и отъ физическихъ недуговъ, особенно развившихся въ послѣдніе 4 года его жизни, и отъ сознанія невозможности выполнить взятую имъ на себя колоссальную задачу. Послѣднее время своей жизни Гоголь провелъ въ Москвѣ, не переставая работать надъ 2-мъ томомъ „Мертвыхъ душъ“. Онъ былъ уже готовъ, и Гоголь просилъ гр. Толстого отвезти его на просмотръ митрополиту Филарету, но потомъ рѣшился сдѣлать это самъ, когда выздоровѣетъ. Въ это время на него напало странное раздумье и уныніе, подъ вліяніемъ котораго въ душу его закралась мысль объ уничтоженіи 2-го тома „Мертвыхъ душъ“, какъ неудовлетворяющаго своему назначенію. И вотъ однажды ночью онъ всталъ съ постели, пошелъ въ кабинетъ и началъ бросать въ каминъ одну тетрадь за другою; потомъ сѣлъ, задумался и заплакалъ. Черезъ нѣсколько дней, 21 февраля 1852 г., Гоголь умеръ.

„Горькимъ словомъ моимъ посмѣюся“, вырѣзана надпись изъ пророка Іереміи на гробницѣ Гоголя, и эти слова, дѣйствительно, вполнѣ характеризуетъ общественное значеніе этого великаго художника въ изображеніи жизненной пошлости, со всей силой психическаго анализа и проникающаго благороднаго *смѣха*, сквозь который такъ и прорываются хотя и незримыя, но горячія *слезы* надъ человѣческимъ несовершенствомъ, надъ недостатками горячо любимой имъ русской земли.

Взгляды Гоголя на искусство во многом носят на себѣ слѣды вліянія Пушкина и въ сущности почти не отличаются отъ взглядовъ послѣдняго. Гоголь не разъ возвращался къ этому, для него, конечно, весьма важному вопросу, но особенно опредѣленно высказался въ повѣсти „Портретъ“, которая, можно сказать, представляетъ собою теорію искусства, выраженную въ поэтическихъ образахъ. Фантастическій элементъ, къ которому Гоголь всегда былъ склоненъ, является здѣсь только символической оболочкой совершенно естественнаго содержанія.

Эти страшные живые глаза, которые такъ и глядятъ на зрителя, являются символическимъ выраженіемъ того, что искусство, становясь черезчуръ натуральнымъ, измѣняетъ себѣ, своей задачѣ: „Здѣсь уже не было того высокаго наслажденія, которое объемлетъ душу при взглядѣ на произведеніе художника, какъ ни ужасенъ взятый имъ предметъ: здѣсь было какое-то болѣзненное, томительное чувство. Что это?—невольно вопрошала себя художникъ. Вѣдь это же, однако, натура; это—живая натура; отчего же это странное, непріятное чувство? Или рабское, буквальное подражаніе натурѣ есть уже проступокъ и кажется яркимъ, нестройнымъ крикомъ? Или, если возьмешь предметъ безучастно, безчувственно, онъ непременно предстанетъ въ одной ужасной своей дѣйствительности, не озаренной свѣтомъ какой-то непостижимой, скрытой во всемъ мысли, предстанетъ въ той дѣйствительности, которая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружаешься анатомическимъ ножомъ, разсѣкаешь его внутренность и видишь отвратительнаго человѣка? Почему же простая, низкая природа является у одного художника въ какомъ-то свѣтѣ, и не чувствуешь никакого низкаго впечатлѣнія; напротивъ, кажется, какъ будто насладился, и послѣ того спокойнѣе и роднѣе

все течетъ и движется кругомъ тебя? И почему, же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочимъ, онъ также вѣренъ природѣ? Но нѣтъ, нѣтъ въ ней чего-то озаряющаго. Все равно, какъ видъ въ природѣ: какъ онъ ни великолѣпенъ, а все недостаетъ чего-то, если нѣтъ на небѣ солнца“.

Портретъ своими живыми глазами дѣйствуетъ развращающимъ образомъ на молодого художника, и тутъ фантастическій элементъ доведенъ уже до вещественныхъ проявленій: соблазнительное дѣйствіе адскихъ глазъ соединяется съ соблазнительнымъ вліяніемъ золота, которое доставляетъ художнику чудесный портретъ. Поддавшись этому вліянію и все болѣе и болѣе проникаясь однимъ желаніемъ — накопить побольше денегъ, художникъ оставляетъ настоящее искусство и начинаетъ рисовать портреты, прибѣгая къ *фалшивой идеализаціи*, рисуя по извѣстнымъ шаблоннымъ приемамъ: „кто хотѣлъ Марса, онъ въ лицо совалъ Марса, кто мѣтилъ въ Байроны, онъ давалъ тому байроническое положеніе и поворотъ... и прибавлялъ уже отъ себя всякому вдоволь благообразія, которое, какъ извѣстно, нигдѣ не подгадить, и за что простятъ иногда художнику и самое несходство“. Этимъ онъ, дѣйствительно, наживается, но теряетъ безвозвратно и свой талантъ и все отзывчивое и живое въ себѣ. Тогда приходится ему быть очевидцемъ истиннаго искусства; но оно уже не возбуждаетъ въ немъ жажды учиться и достигать идеала; оно вызываетъ въ немъ одну только зависть, — чувство вполне естественное въ томъ, кто стремится только къ корыстнымъ цѣлямъ. На свое несмѣтное золото онъ скупаетъ все лучшее, выдающееся въ искусствѣ, и съ какимъ-то адскимъ ожесточеніемъ уничтожаетъ все это, чтобы никому не доставались произведенія истиннаго таланта.

Такъ оканчивается первая часть „Портрета“.

Вторая часть повѣсти возвращаетъ насъ назадъ: здѣсь мы узнаемъ, какъ портретъ былъ нарисованъ художникомъ стараго времени, художникомъ - идеалистомъ. Но и на него дѣйствіе этого портрета было самое тлетворное и развращающее. Но старый художникъ, почувствовавъ свое нравственное паденіе, ищетъ спасенія въ аскетическихъ подвигахъ и, удалившись отъ свѣта, предается внутреннему усовершенствованію и достигаетъ прежней душевной чистоты. Въ это время посѣщаетъ его сынъ и изъ устъ отца слышитъ то, что можно считать окончательной формулой взглядовъ Гоголя на искусство: „Изслѣдуй, изучай все, что ни видишь, покори все кисти, во всемъ умѣй находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданія. Блаженъ избранникъ, владѣющій ею! Нѣтъ ему низкаго предмета въ природѣ! Въ ничтожномъ художникъ - создатель такъ же великъ, какъ и великомъ; въ презрѣнномъ у него уже нѣтъ презрѣннаго, ибо сквозитъ сквозь него прекрасная душа создаващаго, и презрѣнное уже получило высокое выраженіе, ибо протекло сквозь чистилище его души“. Такимъ образомъ, *все* достойно вниманія художника, все проходитъ чрезъ его душу и въ ней очищается. Но, для того, чтобы это произошло, чтобы и жалкая дѣйствительность въ художественномъ воспроизведеніи открыла ту идеальную красоту, которая можетъ и въ ней таиться, необходимо, конечно, чтобы и душа самого художника была *чиста*; проходя только чрезъ *чистое* горнило, его произведенія могутъ быть чистыми. И вотъ отецъ говоритъ сыну: „Спасай чистоту души своей. Кто заключилъ въ себѣ талантъ, тотъ чище всѣхъ долженъ быть душой. Другому простится многое, но ему не простится. Человѣку, который вышелъ изъ дому въ свѣтлой праздничной одеждѣ, стоитъ быть обрызгану только одной каплей грязи изъ—подъ

колеса, и ужъ весь народъ обступилъ его, указываетъ на него пальцемъ, тогда какъ тотъ же народъ не замѣчаетъ множества пятенъ на другихъ проходящихъ, одѣтыхъ въ будничныя одежды, ибо въ будничныхъ одеждахъ не замѣтны пятна“. Даже и одна незначительная капля грязи пятнаетъ душу художника такъ, что это осязательнымъ дѣлается для всѣхъ. Слѣдовательно, чтобы произведенія художника соотвѣтствовали своему назначенію и носили на себѣ печать красоты и правды, онъ долженъ самъ носить въ себѣ эту красоту, долженъ обладать полною нравственною чистотою, долженъ долго работать надъ самимъ собою, себя самого возвести въ перлъ созданія, и тогда только его творчество достигаетъ своего совершенства. Жизнь писателя, по мнѣнію Гоголя, должна вполне соотвѣтствовать высотѣ его произведеній. Представитель *натуральнаго* направленія, такимъ образомъ, возстаетъ противъ буквальной близости къ *натурѣ* и предъявляетъ художнику самыя идеальныя требованія.

Сходство ихъ съ воззрѣніями Пушкина довольно очевидно. Пушкинъ особенно напираетъ на ту сторону, которая развивается въ первой части „Портрета“, на сторону независимости искусства; настаиваетъ на томъ, что искусство не должно стремиться къ матеріальной, практической пользѣ, не должно поддаваться подъ вкусы и требованія толпы. Искусство свободно и независимо; художникъ, рабствующій передъ толпой, перестаетъ быть художникомъ и становится ремесленникомъ. Въ стих. „Поэтъ“ Пушкинъ указываетъ на то нравственное перерожденіе, которое, хотя бы на время, требуется отъ художника. Въ другомъ стих. „Пророкъ“ Пушкинъ, какъ и Гоголь, требуетъ, чтобы разъ навсегда совершился процессъ перерожденія, и только тогда, стряхнувъ съ себя все дурное и порочное, обновившись, обратясь въ *пророка*, худож-

никъ можетъ достичь своего настоящаго значенія и исполнить повелѣніе Божіе:

Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моею,
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жгли сердца людей!

Но, возражая въ „Портретъ“ противъ „рабскаго подражанія натурѣ“, Гоголь, съ другой стороны, по свойству своего таланта и характеру творчества, могъ изображать выпукло и ярко *только известную ему до подробностей жизнь* и всегда обращалъ особое вниманіе на эти подробности, чтобы, какъ онъ говорилъ, „не погрѣшить ни въ чемъ противъ дѣйствительности, противъ времени или эпохи, какая взята“. У меня,—продолжаетъ Гоголь,—только то и выходило хорошо, что было взято мною изъ дѣйствительности, изъ данныхъ, хорошо мнѣ известныхъ. Я никогда не писалъ портрета въ смыслѣ простой копіи. Я создавалъ портретъ, но создавалъ его вслѣдствіе *соображенія*, а не *воображенія*. Чѣмъ больше вещей принималъ я въ соображеніе, тѣмъ у меня вѣрнѣе выходило созданіе... Воображеніе мое до сихъ поръ не подарило меня ни однимъ замѣчательнымъ характеромъ и не создало ни одной такой вещи, которую гдѣ-нибудь не подмѣтилъ бы мой взглядъ въ натурѣ. Мнѣ нужны были безчисленные мелочи и подробности, которыя говорили бы, что взятое лицо дѣйствительно жило на свѣтѣ,—надо было, чтобы русскій читатель почувствовалъ, что выведенное лицо взято именно изъ того самаго тѣла, изъ котораго созданъ и онъ, что это живое и какъ бы *его* собственное тѣло“.

Итакъ, строжайшій реализмъ, т.-е. вѣрность дѣйствительности до послѣдней подробности, съ одной стороны, и съ другой — высокій идеализмъ, т.-е. изо-

браженіе этой дѣйствительности въ типическихъ образахъ, озаренныхъ, какъ солнцемъ, всеоживляющими мыслью и чувствомъ художника, *возведеніе этой дѣйствительности въ перлъ созданія*—вотъ основная задача и цѣль искусства, по мнѣнію Гоголя, которую онъ блестяще и выполнилъ въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ.

Но если созданія Гоголя состоятъ изъ прочнаго фактическаго матеріала, взятаго изъ современной писателю жизни и только получившаго художественную обработку и отдѣлку, то ясно, что, анализируя созданія художника, мы должны получить дѣйствительные факты тогдашняго состоянія русскаго общества и притомъ не исключительные или рѣдкіе, а часто встрѣчавшіеся и, слѣдовательно, характерные для многихъ лицъ и учреждений того времени. Отсюда вытекаетъ значительная историческая цѣнность соч. Гоголя *), т.-е. цѣнность ихъ, какъ *мемуаровъ*, нерѣдко дополняющихъ и объясняющихъ то, что намъ извѣстно о томъ времени и изъ другихъ данныхъ.

Какое же представленіе мы можемъ составить объ эпохѣ 30—50 годовъ на основаніи соч. Гоголя?

Уже ясно изъ общей характеристики таланта Гоголя, что въ нихъ мы можемъ найти только отрицательныя ея черты, черты человѣческой пошлости и порочности, достойныя сатиры или юмористическаго изображенія. Съ другой стороны, надо имѣть въ виду особенности и самой эпохи, которую пришлось наблюдать Гоголю. Начало царствованія Александра I было временемъ различныхъ преобразовательныхъ ра-

*) См. книгу проф. Аристова: „Сочиненія Н. В. Гоголя со стороны отечественной науки“. СПб. 1887 г.

ботъ и улучшеній внутренняго строя Россіи. Но затѣмъ, въ связи съ различными политическими обстоятельствами, началась реакція еще при жизни императора; съ 1825 г. она усилилась еще болѣе... Настушило строгое и для многихъ тяжелое время въ связи съ преобладавшимъ стремленіемъ правительства къ охраненію существующаго порядка. Появленіе затѣмъ у насъ холеры, сопровождавшееся беспорядками, французскія дѣла, безпокойное состояніе Польши—могли только поддерживать развитіе охранительныхъ началъ во внутренней политикѣ. Вслѣдствіе этого крѣпостное право оставалось не тронутымъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и многое другое, тѣсно съ нимъ связанное. Все измѣнилось, какъ извѣстно, только въ эпоху преобразованій императора Александра II. Гоголя уже слѣдуетъ считать въ числѣ тѣхъ лицъ, которыя въ живой, наглядной формѣ указывали обществу и даже правительству на недостатки русской жизни и, можно сказать, подготовляли ея преобразование.

Дворянское сословіе обрисовано у Гоголя по преимуществу въ „Мертвыхъ душахъ“ и въ различныхъ письмахъ. Онъ не разъ указываетъ на то зло, которое приносили Россіи тѣ изъ дворянъ, которые при поразительномъ невѣжествѣ относительно отечества, его дѣйствительныхъ нуждъ и потребностей, старались только объ одномъ въ своей жизни—подражать во всемъ иностранцамъ. Но еще съ большимъ вниманіемъ останавливается наблюдательный писатель на тѣхъ изъ нихъ, которые, оставя въ покоѣ какія-либо нововведенія или улучшенія, или предавались безъ-удержу всѣмъ порывамъ русской широкой натуры, прожигали жизнь, спуская свое состояніе въ карты, на собакъ, среди кутежей и баловъ, на которыхъ поль-губерніи весе-

лилось, вкусно ѣло и пило, или же, при отсутствіи какихъ-либо возбуждающихъ духъ человѣка общественныхъ идей, превращались, какъ Плюшкинъ, въ какую то прорѣху въ человѣчествѣ, разоряя крестьянъ и сами живя одичалыми скаредами. Петръ Петровичъ Пѣтухъ самъ воспитывалъ теленка, какъ родного сына, и закармливалъ на убой знакомыхъ; Тентентиковъ одурѣлъ отъ сна и бездѣлья и протиралъ на кровати утромъ по два часа свои глаза, пока лакей стоялъ передъ нимъ съ умывальникомъ и полотенцемъ; другой усиливался заставить всѣхъ деревенскихъ бабъ ходить въ корсетахъ; Маниловъ на бесѣдкѣ сдѣлалъ надпись „храмъ уединеннаго размышленія“ и мечталъ, что начальство, узнавъ о горячей дружбѣ его съ пріятелемъ, пожалуетъ ихъ генералами.

Не мало характернаго можно найти у Гоголя и относительно современныхъ ему крестьянъ. Будучи совершенно безправны по отношенію къ помѣщикамъ, они вполнѣ зависѣли отъ воли послѣднихъ и переживали тяжелое время. Наученный горькимъ опытомъ, народъ не вѣрилъ ни помѣщикамъ, ни чиновникамъ и, наоборотъ, вполнѣ довѣрялъ рассказамъ разныхъ странниковъ, отставныхъ солдатъ и т. п. и, доводимый иногда до крайности, отказывался повиноваться своимъ господамъ и создавалъ нерѣдкіе въ то время— „крестьянскіе бунты“... „Какіе-то бродяги,—рассказываетъ Гоголь,—пропустили между мужиками слухи, что наступаетъ такое время, когда мужики должны быть помѣщиками и нарядиться во фраки, а помѣщики нарядиться въ армяки и быть мужиками,—и цѣлая волость, не размысливъ того, что слишкомъ много тогда выйдетъ помѣщиковъ, отказалась платить капиталъ - исправнику всякую подать. Нужно было прибѣгнуть къ насильственнымъ мѣрамъ“ У Гоголя нѣтъ изображенія различныхъ ужасовъ крѣпостного права, жестокихъ типовъ, но впечатлѣніе остается,

тѣмъ не менѣе, сильное. „Мнѣ бы скорѣе простили, пишетъ онъ,—если бы я выставилъ картинныхъ изверговъ; но пошлости не простили мнѣ“. Изъ его соч. мы видимъ, насколько крѣпостное право искажало отношенія между помѣщиками и крестьянами, которыхъ первые считали чѣмъ-то въ родѣ вещи, которую можно подкупать, продавать, мѣнять, ссылатъ, наказывать, какъ и за что вздумается... Глубокая идея о „мертвыхъ душахъ“ основывалась на податной системѣ, введенной Петромъ Великимъ, когда введена была *подушная* подать. Извѣстно, какіе толки всегда порождала въ невѣжественной массѣ эта подать, особенно въ средѣ раскольниковъ, видѣвшихъ въ ней лукавое ухищреніе антихриста, который „и съ мертвыхъ дани востребова, чтобы уловить въ свои пагубныя сѣти всякую душу—и живую и мертвую“. Гоголь сообщаетъ: „Въ губерніи расшевелились раскольники. Кто-то пропустилъ между ними, что родился антихристъ, который и мертвымъ не даетъ покоя, скупая какія-то мертвыя души. Каялись и грѣшили, и подъ видомъ, какъ бы изловить антихриста, уколошили не антихристовъ“.

Между различными видами государственной службы въ то время особымъ вниманіемъ правительства пользовалась служба военная. Въ общемъ Гоголь военнаго сословія касается довольно осторожно, такъ какъ сатира на него считалась вреднымъ легкомысліемъ; онъ смѣется, однако, надъ военными недотрогами, которые, при малѣйшей проницательской выходкѣ литературы, тотчасъ же бросались подъ защиту властей. „Вѣдь вотъ вы какіе, господа военные! Вы говорите: надо выводить на сцену (*недостатки*), вы готовы вдоволь насмѣяться надъ какимъ-нибудь статскимъ чиновникомъ, а затрошь какъ-нибудь военныхъ, скажи только, что есть въ такомъ-то полку офицеры, не говоря уже о прочихъ поклонностяхъ, но просто скажи:

есть офицеры дурного тона, съ неприличными ухватками, — да вы всѣ изъ одного этого готовы съ жалобой полѣзть въ самый Государственный Совѣтъ“. Съ такой нетерпимостью у военныхъ нерѣдко связано было крайнее самомнѣніе, въ чемъ, впрочемъ, помогали имъ дамы. „Послушай, Миша, — говоритъ у Гоголя одна петербургская дама своему сыну: — ты долженъ перемѣнить свою службу на военную. Это слово *титулярный* тиранить мои уши. Я хочу, чтобы сынъ мой служилъ въ гвардіи. На штафирку просто не могу смотрѣть! Губолизова, эта дура, нарочно говоритъ третьяго дня такъ, чтобы я слышала: „я очень рада, что на знатныхъ балахъ не пускаютъ статскихъ... Я рада, говоритъ, что мой Алексисъ не носитъ этого сквернаго фрака“. А ея сынъ просто дуракъ набитый. Такая противная мерзавка! Ужъ какъ она хочетъ, — я употреблю всѣ старанія, а мой сынъ будетъ тоже въ гвардіи. Ужъ хоть чрезъ это потеряетъ, а ужъ непременно будетъ“. Въ другомъ мѣстѣ, Гоголь такъ характеризуетъ положеніе дѣла: „Когда нѣкоторые, чрезчуръ военные люди стали было утверждать, что все въ государствахъ должно быть основано на одной военной силѣ, и въ ней одной спасеніе, а чиновники штатскіе начали, въ свою очередь, притрунивать надъ всѣмъ, что ни есть военного, изъ-за того только, что нѣкоторые обратили военное дѣло въ одни погончики да петлички, — Крыловъ написалъ знаменитый споръ пушекъ съ парусами, подъ которыми разумѣлъ гражданскую власть: безъ пушекъ не защитишься, а безъ парусовъ и вовсе не поплывешь“. Къ этому слѣдуетъ только прибавить, что на „погончики да петлички“ вообще обращалось болѣе вниманія, чѣмъ на научное развитіе и серьезное образованіе военного сословія. Военное искусство видѣли почти исключительно во внѣшней дисциплинѣ и знаніи фронта. Формализмъ, искусственность, молодечество и отсутствіе хоть сколь-

ко-нибудь основательнаго образованія были весьма нерѣдки въ военной средѣ, — какъ и вездѣ. Гоголь — во многихъ мелкихъ замѣткахъ — живо обрисовываетъ предъ нами современное ему военное сословіе. Поручикъ Пироговъ много имѣлъ талантовъ: особенно искусно пускалъ дымъ изъ трубки кольцами, такъ удачно, что вдругъ могъ нанизать ихъ около 10 одно на другое; умѣлъ очень пріятно рассказать анекдотъ о томъ, что пушка сама по себѣ, а единорогъ самъ по себѣ. Онъ увѣренъ былъ, что нѣтъ красоты, которая могла бы противиться ему; за волокитство мастеровые высѣкли его, но онъ въ тотъ же вечеръ отличился въ мазуркѣ и привелъ въ восторгъ даже мужчинъ. Пѣхотный капитанъ былъ мастеръ штосы срѣзывать и въ четверть часа могъ совсѣмъ обогреть партнера; мичманъ Пѣтуховъ, наоборотъ, былъ очень веселаго нрава: „бывало, ему ничего больше, покажешь одинъ палецъ — вдругъ засмѣется и до самаго вечера смѣется“. Между собой гг. военные не стѣснялись въ выраженіяхъ, а то старосту или ямщика отдѣлаетъ ѣзжалый капитанъ или генераль, который, сверхъ многихъ выраженій, сдѣлавшихся классическими, прибавляетъ еще много неизвѣстныхъ, которыхъ изобрѣтеніе принадлежитъ ему собственно. Но особенные мастера гг. военные — впрочемъ, почему-то не выше капитанскихъ чиновъ — были въ разговорахъ съ дамами; какъ это они дѣлаютъ, Богъ ихъ вѣдаетъ: кажется, и не очень мудренныя вещи говорятъ, а дѣвица, то и дѣло, качается на стулѣ отъ смѣха и восклицаетъ: „Ахъ, перестаньте, не стыдно ли вамъ такъ смѣшиться!“ Нѣкоторые изъ пѣхотныхъ полковъ по высотѣ развитія не уступали кавалерійскимъ: напр., въ полку П***. „большая часть офицеровъ пила выморозки и умѣла таскать жидовъ за пейсики, не хуже гусаровъ; нѣсколько офицеровъ даже танцевали мазурку... а двое были такіе страшные игроки въ банкъ, что проигрывали мундиръ, фуражку,

шинель, темлякъ и даже исподнее платье, чего не вездѣ и между кавалеристами можно сыскать“. Получая ничтожное содержаніе, офицеры были вѣчно въ долгахъ, и вслѣдствіе этого, многіе изъ нихъ мечтали о женитьбѣ на купеческой дочкѣ, умѣющей играть на фортепіано, съ сотнею тысячъ наличныхъ; „впрочемъ, прибавляетъ Гоголь, русскія бородки, несмотря на то, что отъ нихъ отзывается капустой, любятъ видѣть своихъ дочерей за генералами и не ниже полковниковъ“. Полиція изъ военныхъ умѣла внушать къ себѣ почтеніе: когда чиновники опасались неповиновенія со стороны крестьянъ Чичикова, то полиціймейстеръ успокоилъ ихъ, сказавъ, что въ отвращеніе бунта существуетъ власть капитанъ-исправника. „Самъ онъ хотъ не ѣзди, а пошли только на мѣсто себя одинъ картузъ свой, то одинъ картузъ этотъ и погонитъ крестьянъ до самаго мѣста ихъ жительства“. Впрочемъ, не всегда такъ почтительны были мужики къ своей полиціи. Гоголь сообщаетъ о томъ, какъ казенные крестьяне снесли съ лица земли земскую полицію въ лицѣ засѣдателя Дробяжкина за то, что онъ повадился черезчуръ часто ѣздить въ ихъ деревню, что въ иныхъ случаяхъ, объясняетъ Гоголь, стоитъ повальнѣй горячки. Потѣшаясь постоянно надъ засѣдателями, Гоголь не давалъ спуску и квартальнымъ и частнымъ, Держимордамъ и Свистуновымъ, отъ излишняго и пристрастнаго усердія которыхъ приходилось нерѣдко страдать ни въ чемъ невиннымъ людямъ,—въ родѣ той унтеръ-офицерши, которая „сама себя высѣкла“, по объясненію городничаго. Вотъ будочники въ то время были плохи. Набираясь изъ слабосильныхъ, дряхлыхъ и увѣчныхъ гарнизонныхъ солдатъ, они никуда не годились даже въ Петербургѣ. По словамъ Гоголя, одинъ коломенскій будочникъ былъ „по природѣ своей настолько безсиленъ, что разъ обыкновенный поросенокъ, кинувшись изъ какого-то частнаго

дома, сшибъ его съ ногъ, къ величайшему смѣху стоявшихъ вокругъ извозчиковъ, съ которыхъ онъ вытребовалъ за такую издѣвку по грошу на табакъ“.

Особенности правительственной системы того времени чрезвычайно способствовали развитію бюрократіи, чиновничества, которое и разрослось до небывалыхъ ранѣе размѣровъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, скудное содержаніе и малое духовное развитіе повели къ крайней испорченности этого сословія: взяточничество, противъ котораго оказывалось безсильно негодование и строгость правительства, господствовало среди чиновниковъ, и общество почти мирилось съ нимъ, видя невозможность массѣ чиновничества существовать однимъ казеннымъ жалованьемъ. Съ другой стороны, отношеніе къ дѣлу, къ самымъ вопіющимъ народнымъ нуждамъ и потребностямъ отличалось крайнимъ формализмомъ и отсутствіемъ всякаго интереса къ дѣйствительному удовлетворенію ихъ. Вездѣ — и въ судѣ и въ администраціи — господствовало бумажное производство, канцелярская тайна и полное пренебреженіе къ общественному мнѣнію; фраза „все обстоитъ благополучно“ царила въ отчетахъ, донесеніяхъ, и ей удовлетворялись, хотя дѣйствительность иногда была тяжела и печальна. Устраненныя отъ всякаго участія въ общественныхъ дѣлахъ, общественныя силы все болѣе и болѣе парализовались, умственная лѣнь, „обломовщина“, которою и безъ того страдало русское общество, усиливалась еще болѣе, и могла стать роковою, если бы внѣшнія событія не разбудили, наконецъ, и государство и общество отъ тяжелаго сна. Яркіе и живые образы „Ревизора“ рѣзко рисуютъ вопіющіе недостатки этого, теперь отжившаго, строя; повѣсть „Шинель“ — съ другой стороны — цѣлая, глубокопечальная исторія чиновничества николаевскихъ временъ, со всѣмъ его жалкимъ пролетаріатомъ, тяжелымъ духовнымъ и матеріальнымъ положеніемъ. Не

мало мѣткихъ штриховъ и замѣтокъ о чиновникахъ встрѣчается и въ „Мертвыхъ душахъ“, и въ другихъ соч. Гоголя. Онъ мастерски, напр., изображаетъ, какъ шла работа въ канцеляріяхъ, какъ писали и переписывали отношенія, запросы изъ одного этажа въ другой или въ сосѣднюю комнату. Живо рисуетъ онъ этотъ скрипъ перьевъ, исписываніе чернилъ ведрами, пыхтѣнье надъ кипами бумагъ, и залу присутствія, гдѣ, какъ солнце, сидѣлъ предсѣдатель, и, какъ Зевесъ, могъ продлить время засѣданія;—этотъ, нерѣдко раздававшійся въ канцеляріи повелительный голосъ: „На, перепиши! А не то—снимутъ сапоги, и просидишь ты у меня 6 сутокъ не ѣвши“. Несчастному чиновнику некогда было и посвататься. „Вотъ за то не люблю сватаній,—говоритъ экзекуторъ департамента,—пойдетъ возня, пожалуйста завтра, да на чашку чая послѣ-завтра. Я человѣкъ должностной, мнѣ некогда. Вдругъ вздумаетъ генераль: „А куда экзекуторъ пошелъ?“ Невѣсту пошелъ выглядывать. Чтобы не задалъ онъ такой невѣсты“... Страхъ и трепетъ передъ высшими до потери человѣческаго достоинства, надменность и презрѣніе по отношенію къ низшимъ—черезчуръ ужъ часто опредѣляли тогда взаимныя отношенія чиновниковъ. А пристрастіе къ чинамъ, орденамъ иногда доводило ихъ до совершеннаго умственного помраченія, какъ, напр., того чиновника, который, будучи въ душѣ добрый человѣкъ, получивъ генеральскій чинъ, совершенно спутался, сбился съ пути и совершенно не зналъ, какъ ему быть, какъ держать себя, какъ распекать. Что касается взятокъ, предлагавшихся чиновникамъ просителями въ самыхъ разнообразныхъ видахъ и размѣрахъ, то у Гоголя о нихъ упоминается почти вездѣ, гдѣ говорится о чиновникахъ. Какъ быстро рѣшали дѣла, показываетъ случай, когда свинья унесла прошеніе со стола присутствія: послѣ подачи заявленія объ этомъ происшествіи процессъ „пошелъ съ необык-

новенной быстротой, которою такъ славятся наши судилища. Бумагу помѣтили, записали, выставили нумеръ, вшили, расписались — все въ одинъ и тотъ же день, и положили дѣло въ шкапъ, гдѣ оно лежало, лежало... три года. Множество невѣстъ успѣло выйти замужъ; у судьи выпалъ одинъ коренной зубъ и два боковыхъ... а дѣло все лежало въ самомъ лучшемъ порядкѣ. Дѣло было перенесено въ палату, которая извѣщала ежедневно, что дѣло кончится завтра — въ продолженіе 10 лѣтъ“. По наблюденіямъ писателя, незаконный ходъ дѣйствій чиновниковъ обратился почти въ законный, замкнулся въ стройную систему; взятки „чиновникъ беретъ съ чиновника по командѣ сверху внизъ; это идетъ иногда безконечною лѣстницей. Завелись такія лихоимства, которыхъ истребить нѣтъ никакихъ средствъ человѣческихъ“ (IV, 668). Кромѣ лихоимства, Гоголь указываетъ не разъ и на другія злоупотребленія испорченной бюрократіи: поджоги шкаповъ съ бумагами, чтобы скрыть плутни, ложные доносы, поддѣлки подписей и т. п., такъ что, по его словамъ, приходилось спасать русскую землю не отъ иноземнаго, а отъ внутренняго беззаконнаго врага. Противъ злоупотребленій принимались мѣры, но большею частью чисто формальныя, въ родѣ, напр., того, что къ одному чиновнику приставляли другого — для ограниченія произвола. „Человѣка нельзя ограничить человѣкомъ — замѣчаетъ по этому поводу Гоголь:—на слѣдующій годъ окажется надобность ограничить и того, который приставленъ для ограниченія, и тогда ограниченіямъ не будетъ конца. Это—пустая и тяжелая система!.. Нужно оказать довѣріе къ благородству человѣка, а безъ того не будетъ вовсе благородства“.

Обращаемся къ народному образованію. Въ связи съ общимъ направленіемъ оно мало имѣло развитія, хотя, надо замѣтить, такихъ ожесточенныхъ враговъ, какіе изображены, напр., Грибоѣдовымъ, оно ужъ не

встрѣчало. Возникали не разъ даже мысли о заведеніи школъ между крестьянами, но изъ этого ничего не выходило, и народная крѣпостная масса коснѣла въ полномъ невѣжествѣ, такъ какъ и времени-то у нея не было, чтобы учиться, да и руководящія сферы находили образованіе для низшихъ классовъ бесполезнымъ и даже вреднымъ и старались подавлять въ молодыхъ людяхъ изъ этихъ классовъ стремленіе къ нему, особенно къ высшему образованію, „изъемлющему ихъ изъ первобытнаго состоянія безъ пользы для государства“. Въ существующихъ же учебныхъ заведеніяхъ предписывалось — обогащать питомцевъ тѣми свѣдѣніями, кои, по образу жизни ихъ, нуждамъ и упражненіямъ, могутъ быть имъ истинно полезны, чтобы каждый пріобрѣталъ познанія, могущія служить къ улучшенію его участи, и, не бывъ ниже своего состоянія, также не стремился чрезъ мѣру возвыситься надъ тѣмъ, въ коемъ ему суждено оставаться“. (Сборникъ постановленій, 1875, т. II, 71—73, по цитатѣ Аристова). При такомъ взглядѣ на дѣло основой для школы и для службы считались нравственные наставленія, проводимыя, между прочимъ, чрезъ прописи, и примѣрное поведеніе учащихся, а пріобрѣтеніе знаній, даровитость и самостоятельное развитіе считались дѣломъ второстепеннымъ. Унаслѣдовавъ суровыя правила временъ Магницкаго и Рунича, школа строго преслѣдовала всякое, даже невинное, увлеченіе молодежи и жестоко наказывала виновныхъ. Гоголь, впрочемъ, упонимаетъ только вскользь о господствовавшемъ тогда повсемѣстномъ драньѣ и другихъ тѣлесныхъ наказаніяхъ въ школахъ, не только низшихъ, но и среднихъ и болѣе останавливается на самихъ представителяхъ вѣдомства народнаго просвѣщенія — временъ Шишкова и Ливена. Учитель Чичикова „былъ большой любитель тишины и хорошаго поведенія и терпѣть не могъ умныхъ и острыхъ мальчиковъ: ему-казалось, что они непременно должны надъ

нимъ смѣяться“. „Способности и дарованье—это все вздоръ!—говаривалъ онъ. —Я смотрю только на поведеніе. Я поставлю полные баллы во всѣхъ наукахъ тому, кто ни аза не знаетъ, да ведетъ себя похвально; а въ комъ я вижу дурной духъ да насмѣшливость, я тому нуль, хотя онъ Солона заткни за поясъ!“ Такъ говорилъ учитель, не любившій на смерть Крылова за то, что тотъ сказалъ: „по мнѣ ужъ лучше пей, да дѣло разумѣй!“ и всегда рассказывавшій съ наслажденіемъ въ лицѣ и въ глазахъ, что въ томъ училищѣ, гдѣ онъ преподавалъ раньше, такая была тишина, что слышно было, какъ муха летитъ; что ни одинъ изъ учениковъ въ теченіе круглаго года не кашлянулъ и не высморкался въ классѣ, и что до самаго звонка нельзя было узнать, былъ ли кто тамъ. или нѣтъ. Чичиковъ сразу постигъ духъ начальника, и въ чемъ должно состоять поведеніе. Не шевельнулъ онъ ни глазомъ, ни бровью во все время класса, какъ ни щипали его сзади; а какъ только раздавался звонокъ, онъ бросался опрометью и подавалъ учителю прежде всѣхъ треухъ (учитель ходилъ въ треухѣ); подавши треухъ, онъ выходилъ первый изъ класса и старался понасться ему раза три на дорогѣ, безпрестанно снимая шапку. Дѣло имѣло совершенный успѣхъ“. И другіе учителя низшихъ училищъ, изображенные Гоголемъ, совершенные уроды. „Таковъ ужъ неизъяснимый законъ судебъ“, по замѣчанію глубокомысленнаго городничаго, умный человѣкъ—или пьяница, или рожу такую строить, что хотъ святыхъ выноси“. И послѣднее даже было хуже перваго, такъ какъ строгіе патріоты той эпохи и въ рожѣ были склонны усматривать стремленіе къ распространенію *вольныхъ* мыслей. „Вотъ еще на-дняхъ,—жалуется по этому поводу смотритель Хлоповъ,—какъ зашелъ было въ классъ нашъ предводитель, учитель скроилъ такую рожу, какой я еще никогда и не видывалъ. Онъ-то ее сдѣлалъ отъ добраго сердца, а мнѣ

выговоръ: зачѣмъ вольнодумныя мысли внушаются юношеству. Не приведи Богъ служить по ученой части— всего боишься. Всякій мѣшается, всякому хочется показать, что онъ тоже умный человѣкъ“.

Между учебными предметами, особенно при домашнемъ воспитаніи и въ закрытыхъ школахъ, большое значеніе придавали изученію разговорнаго французскаго языка. Воспитанникъ „Училища Правовѣдѣнія“ конца 30-хъ гг. В. Стасовъ въ своихъ воспоминаніяхъ („Рус. Старина“ 1881, 2, цит. Арист.) увѣряетъ, что у нихъ главнымъ образомъ добивались знанія французскаго языка: и по мнѣнію родителей и начальства парижскій выговоръ составлялъ *все* необходимое знаніе для истиннаго джентльмена; но, къ ужасу начальства, ученики дошли до нелѣпой привычки читать французскія книги вмѣсто безсодержательной болтовни. Еще болѣе о французской рѣчи хлопотали въ женскихъ школахъ. Гоголь сообщаетъ, что хорошее воспитаніе получается въ пансіонахъ: „а въ пансіонахъ три главные предмета составляютъ основу человѣческихъ добродѣтелей: французскій языкъ, необходимый для счастья семейной жизни, фортепіано — для доставленія пріятныхъ минутъ супругу, и, наконецъ, собственно хозяйственная часть: вязанье кошельковъ и сюрпризовъ. Впрочемъ, бываютъ разныя усовершенствованія и измѣненія въ методахъ, особенно въ нынѣшнее время: все болѣе зависитъ отъ благоразумія и способностей самихъ содержательницъ пансіоновъ. Въ другихъ бываетъ прежде фортепіано, потомъ французскій языкъ и пр. Разныя бываютъ методы“. Образцы дамъ, получившихъ такое воспитаніе, выведены у Гоголя и въ г-жѣ Маниловой, и въ лицѣ дамы просто пріятной, и дамы пріятной во всѣхъ отношеніяхъ — жалкихъ жертвъ свѣтской пустоты и невѣжества; всюду и вездѣ царила пошлость, типа мелочей, сплетенъ, капризовъ — и ни одной свѣтлой мысли, стремленія или поступка....

Если мужчины у Гоголя—„мертвые души“, то женщины—еще ниже, пошлѣе и безличнѣе.

Отношеніе къ образованію и взглядъ на его значеніе у многихъ были въ то время вообще очень своеобразны. Помѣщикъ, напр., размышляя о невыгодѣ возиться съ мужиками, выясняетъ свое отношеніе къ образованію такимъ образомъ: „А образованіе-то развѣ пустая вещь? Невѣжество—то, которое пріобрѣтешь въ деревнѣ,—вѣдь его ножомъ послѣ не отскоблишь... Да я хочу съ образованнымъ человѣкомъ поговорить! Теперь я могу заняться тѣмъ, что споспѣшествуетъ образованію. Поѣду въ Петербургъ,—посмотрю театръ, монетный дворъ, прѣйду мимо дворца, по Англійской набережной, въ Лѣтнемъ саду. Поѣду въ Москву,—пообѣдаю у Яра, могу одѣться по столичному образцу, могу стать наравнѣ съ другими, исполнить долгъ просвѣщеннаго человѣка“. Нѣкоторые изъ помѣщиковъ пописывали, впрочемъ, и статейки въ газетахъ. Попрыщинъ читалъ въ „Пчелкѣ“ пріятное изображеніе бала, описанное курскимъ помѣщикомъ, и похвалилъ: „курскіе помѣщики хорошо пишутъ!“ Чтеніе служило часто только средствомъ пустить пыль въ глаза другимъ: свѣтскій человѣкъ „всего наговорить, всего слегка коснется, все скажетъ, что понадергалъ изъ книжекъ: пестро, красно, а въ головѣ хоть бы что-нибудь изъ этого вынесъ“; онъ „не то, чтобы глупъ,—у него есть умъ, но только сейчасъ по выходѣ журнала, а запоздала книжка выходомъ—и въ головѣ ничего“. Одинъ дѣловой человѣкъ внушаетъ своему образованному чиновнику при разсмотрѣніи бумаги: „Что это значитъ? у васъ поля по краямъ бумаги не ровны. Знаете ли, что васъ можно посадить подъ арестъ... Я съ вами совершенно согласенъ, что министръ не займется такими пустяками. Ну, а вдругъ вздумается: дай-ка посмотрю, велико ли мѣсто остается для полей!..

Вѣдь я съ вами говорю и объясняюсь, потому что вы воспитывались въ университетѣ. Съ другимъ бы я не сталъ тратить словъ“. Губернскіе чиновники въ „Мертвыхъ душахъ“ тоже не безъ образованія: кто зналъ наизусть „Людмилу“ Жуковского, кто по ночамъ читалъ „Юнговы ночи“ или „Ключъ къ тайнствамъ патуры“ Экартсгаузена, иной читалъ Карамзина или „Московскія Вѣдомости“; нѣкоторые были не прочь и сами отличиться въ мѣстной газетѣ—гиперболическимъ, напр., описаніемъ заботъ власти о градскомъ благоустройствѣ. „Городъ нашъ украсился,—пишетъ, напр. одинъ,—благодаря попеченію гражданскаго правителя, садомъ, состоящимъ изъ тѣнистыхъ, широколѣвистыхъ деревьевъ (на самомъ дѣлѣ, еще не выше тростника), дающихъ прохладу въ знойный день... Было очень умилительно смотрѣть, какъ сердца гражданъ трепетали въ избыткѣ благодарности и струили потоки слезъ въ знакъ признательности г. градоначальнику“.

Высшее образованіе въ началѣ характеризуемаго періода находилось въ нѣсколько лучшихъ условіяхъ, чѣмъ въ послѣдніе годы царствованія Александра I. Изъ университетовъ вышли и въ нихъ потомъ дѣйствовали ученые и писатели, оказавшіе важное вліяніе на умственное развитіе русскаго общества; тѣмъ не менѣе, въ цѣломъ положеніе университетовъ было очень неблагоприятное. Высшія сферы имѣли противъ нихъ предубѣжденіе, сохранившееся отъ временъ Александра I и вновь подкрѣпленное вліяніемъ безпокойствъ въ германскихъ университетахъ 10-хъ и 20-хъ гг. Впервые мѣсто министра народнаго просвѣщенія было занято человѣкомъ дѣйствительно образованнымъ, когда былъ назначенъ Уваровъ. Но и онъ мало чувствовалъ и защищалъ насущную потребность образованія для общества и даже самъ преслѣдовалъ нѣкоторыя—нѣсколько свободныя—явленія литературы; но даже его мнѣнія казались слишкомъ смѣлы въ тогдашнемъ

официальномъ мірѣ, и при всей умѣренности своихъ взглядовъ и дипломатичности своего образа дѣйствій онъ не въ силахъ былъ отстаивать дѣло просвѣщенія и университетовъ отъ существовавшихъ противъ нихъ предубѣжденій, и, наконецъ, долженъ былъ оставить свое мѣсто. Событія на западѣ въ 1848 г. отзывались у насъ еще большимъ увеличеніемъ строгости, усиленіемъ надзора за университетами, за литературой и общественнымъ мнѣніемъ (Пыпинъ — „Литературныя характеристики“, 106, 108). Вслѣдствіе этого надзора профессура превращалась въ простое и безжизненное отправленіе ученаго промысла, а энергія и ревность лучшихъ людей подвергались часто оч. тяжелымъ испытаніямъ; достаточно припомнить жизнь Грановскаго. Напротивъ того, нерѣдко находила себѣ поддержку и процвѣтала благонамѣренная бездарность... У Гоголя не разъ встрѣчаются замѣтки, отчасти характеризующія подобное положеніе дѣла: Съ наукой случилось что-то странное. Выписаны были новые преподаватели, съ новыми взглядами и новыми углами и точками зрѣнія. Забросали они слушателей множествомъ новыхъ словъ и терминовъ; показали они въ изложеніи своемъ и логическую связь и слѣдованіе за новыми открытіями... Но—увы! не было только жизни въ самой наукѣ. Мертвечиной отзывалась въ устахъ ихъ мертвая наука“. Съ другой стороны, отсутствіе какой-либо общественной дѣятельности въ то время не давало почти никакой возможности прошедшимъ курсъ высшихъ наукъ приложить ихъ къ жизни; тѣмъ менѣе онѣ оказывались нужными въ канцеляріи или въ деревнѣ. Образованные люди поэтому только читали книги и фантазировали, замыслили писать историческое соч. о Россіи со всѣхъ точекъ—съ гражданской политической, религіозной и т. п., но только изгрызали перья; другіе занимались умозрительной философіей... Третьи сочиняли бесполезные, хотя и краснорѣчивые

проекты всеобщаго преобразованія. Космополитическая любовь прожигала юпошей, какъ бы облагодѣтельствовать весь міръ, „обнять все человѣчество, какъ братьевъ“. Разными плутами составлялись тайныя общества съ обширной цѣлью доставить прочное счастье всему человѣчеству, отъ береговъ Темзы до Камчатки; но верховные распорядители одни знали, куда пошли огромныя пожертвованія“.

Нечего много распространяться о цензурныхъ строгостяхъ той эпохи. Усердные цензоры ухитрялись придавать политическое значеніе нѣкоторымъ фразамъ даже въ поваренныхъ книгахъ и вычеркивали изъ нихъ, напр., выраженіе: „поставь пирогъ въ *вольный* духъ“, замѣняя его выраженіемъ: „поставь въ печку“. Между тѣмъ время брало свое, требуя реформъ и улучшеній въ государственномъ строѣ... Но представители отживавшаго строя этого не хотѣли знать и думали отстоять все въ прежнемъ состояніи, вооружаясь гоненіями, запрещеніями, наказаніями и видя въ живомъ свободномъ словѣ своего заклятаго врага, который не давалъ имъ спокойно злоупотреблять своею властью, допускать произволъ въ своихъ дѣйствіяхъ вмѣсто законности. Городничій у Гоголя въ раздраженіи не зналъ, какъ и выразить поядовитѣе свою злость противъ литературы: „Найдется щелкоперъ, бумагомарака,—вопіетъ онъ въ концѣ комедіи,—въ комедію тебя выставить. Вотъ что обидно! Чина, званія не пощадить, и будутъ всѣ скалить зубы и бить въ ладоши... Я бы всѣхъ этихъ бумагомарокъ! У, щелкоперы, либералы проклятые! Чортово сѣмя! Узломъ бы васъ всѣхъ завязалъ, въ муку бы стеръ, да чорту въ подкладку! въ шапку туда ему!“... Известно, какъ цензура отнеслась и къ соч. самого Гоголя, съ какимъ ожесточеніемъ былъ встрѣченъ „Ревизоръ“, какъ грозили автору даже ссылкой въ Нерчинскъ за отвратительную насмѣшку надъ Россіей!.. Опъ не разъ сильно

жаловался на современниковъ: „Посмѣйся надъ истинно-благороднымъ, что составляетъ высокую святыню души, никто не станетъ заступникомъ. Посмѣйся же надъ порочнымъ, подлымъ и низкимъ,—всѣ закричатъ: „онъ смѣется надъ святыней!“ Избери маловажные случаи, станутъ говорить, что онъ пишетъ вздоръ; избери предметъ серьезный, кричатъ: „не его дѣло, пиши пустяки!“ Особенныя строгости завелись, какъ уже замѣчено выше, послѣ 1848 г. Начались аресты и ссылки людей подозрительныхъ, а идеи направились по путямъ тайнымъ, родились крайнія сужденія, подогрѣваемые западными теоріями; расплодилась рукописная подпольная и заграничная печатная литература, злобно относившаяся ко всѣмъ дѣйствіямъ правительства... Затѣмъ наступила и разрѣшилась катастрофой Крымская кампанія. На престолъ вступилъ императоръ Александръ II... Въ Россіи началась новая эпоха.

Уже изъ этого отрывочнаго и, конечно, весьма поверхностнаго очерка видно, сколько данныхъ дѣйствительности находится въ соч. Гоголя. Черты ея выступаютъ еще ярче, если соч. Гоголя подробно разобратъ со стороны, напр., домашняго быта, экономической, иностраннаго вліянія и т. п. *) Но и сказаннаго уже достаточно, чтобы видѣть близость ихъ современной Гоголю эпохѣ и значеніе ихъ для характеристики этой эпохи.

Громадно значеніе Гоголя и въ исторіи русской литературы—какъ въ художественномъ отношеніи со стороны необычайной силы и рельефности его поэтическихъ образовъ, своеобразнаго стиля и захватыва-

*) См. вышеуказанную книгу проф. Аристова.

ющаго юмора, такъ и по необычайной жизненности этихъ образовъ, ихъ общественному смыслу и значенію.

Если Пушкинъ первый показалъ въ художественныхъ созданіяхъ, что такое чистая поэзія, свободная отъ служебнаго значенія и высокая вслѣдствіе этой свободы, и первый, благодаря своему всеобъемлющему генію, затронулъ въ своихъ соч. почти всѣ струны, которыми зазвучала потомъ русская литература, то Гоголь первый своимъ психическимъ анализомъ пробудилъ въ насъ сознаніе о насъ самихъ, вызвавъ критическое отношеніе къ жизни,—первый приложилъ—серьезно и задумчиво—поэтическое искусство къ прозѣ жизни, и не только увлекъ фантазію животрепещущимъ воспроизведеніемъ знакомыхъ всѣмъ картинъ и освѣтилъ ихъ смѣхомъ, но и возбудилъ стремленіе къ нравственному самонаблюденію и затронулъ почти невѣдомые дотолѣ, тревожные общественные вопросы. И Пушкинъ и Гоголь имѣли огромное вліяніе на всю послѣдующую литературу — одинъ своими высокими взглядами на значеніе поэзіи въ обществѣ, высокою художественностью своихъ произведеній, чарующей прелестью своей поэзіи, другой — критическимъ отношеніемъ къ жизни, безбоязненной анатоміей ея,—съ цѣлью оздоровленія.

Вслѣдъ за Гоголемъ, съ 40-хъ гг., выступаетъ въ русской литературѣ цѣлый рядъ первостепенныхъ писателей, которые окончательно установили ея самостоятельность и доставили ей независимое и почетное мѣсто въ кругу европейской литературы. Будучи, конечно, далеки отъ пассивнаго подражанія Гоголю, эти писатели, тѣмъ не менѣе, и общимъ тономъ своихъ соч., и сторонами жизни, ими изображаемой, ясно показываютъ на вліяніе Гоголя. Общій тонъ ихъ соч. — критическій; ихъ мотивы — изображеніе житейской пошлости, подавляющей нравственно-разумную жизнь

человѣческую, защита людей и цѣлыхъ общественныхъ классовъ, угнетаемыхъ людскимъ безсердечіемъ и несовершенными общественными формами; указаніе человѣческаго достоинства и правъ человѣческой личности въ самыхъ скромныхъ существованіяхъ, забытыхъ условіями жизни; изображеніе, наконецъ, того внутренняго страданія, которое выпадаетъ нерѣдко на долю людей, сознающихъ жизненную неправду и вступающихъ съ нею часто въ непосильную борьбу. Таковы мотивы многихъ произведеній Достоевскаго, Салтыкова, Григоровича, Тургенева, Островскаго и др. Кругъ вліянія и общественнаго значенія этихъ писателей далеко не закончился и въ настоящее время, и русская литература, въ наиболѣе цѣнныхъ своихъ произведеніяхъ, еще и до сихъ поръ находится въ томъ періодѣ своего развитія, въ который она вступила благодаря дѣятельности Пушкина и Гоголя.

III.

В. Г. Бѣлинскій.

(Читано 26 мая 1898 г.).

Жизнь В. Г. Бѣлинскаго очень бѣдна внѣшними событіями, но богата внутреннимъ содержаніемъ. Можно сказать, что она вся—въ его литературныхъ трудахъ, и исторія его литературной дѣятельности есть въ сущности его біографія.

Трудно найти между дѣятелями мысли другой, болѣе высокій примѣръ полнаго согласія слова съ дѣломъ, теоретическихъ взглядовъ съ жизнью, чѣмъ тотъ, который представляетъ намъ мысль и жизнь Бѣлинскаго,

его умственные и нравственные качества. Писатель и человек слились въ немъ воедино.

Сила писателя въ талантѣ, а сила таланта прежде всего въ искренности. Бѣлинскій всегда былъ въ высшей степени искрененъ. Въ его жизни мы не развстрѣчаемся съ ошибочными увлеченіями и крайностями, но все онѣ происходили не отъ личныхъ пристрастій и равнодушія къ истинѣ, а, напротивъ, отъ слишкомъ страстнаго и нетерпѣливаго ея исканія. Ни мыслить, ни чувствовать наполовину Бѣлинскій не умѣлъ и не могъ. Его умъ былъ слишкомъ силенъ и дѣятеленъ для того, чтобы ограничиваться только усвоеніемъ идей, представлявшихся ему истинными, — безъ попытки самостоятельно развить и расширить эти идеи, а чувство слишкомъ искренно и пламенно, чтобы устрашиться какихъ бы то ни было логическихъ выводовъ изъ этого развитія. Онъ всею существомъ своимъ жилъ для идей и стремленій мыслящаго меньшинства его эпохи, отдаваясь имъ горячо и беззавѣтно, безстрашно борясь за правду и не боясь отречься отъ лжи и признаться въ своихъ ошибкахъ, какъ только онъ признавалъ ихъ. Смѣло и честно онъ называлъ первый геніальнымъ то, что таковымъ признавалъ, и также смѣло и честно разобличалъ онъ всякую ложь, притворство и гниль, гдѣ бы и въ комъ бы ихъ ни встрѣчалъ. Отсюда его чарующее дѣйствіе на окружающихъ. Многіе понимали, что въ своихъ страстныхъ сужденіяхъ онъ иногда увлекался за предѣлы истины, знали, что свѣдѣнія его бывали не всегда достаточны, но все это исчезало предъ подавляющимъ авторитетомъ великаго таланта, благороднѣйшей гражданской мысли и чистой личности, безъ пятна, личности, которой нельзя было ничѣмъ подкупить (Кавелинъ).

Наивная и страстная душа,
Въ комъ помыслы прекрасные кипѣли,
Упорствуя, волнуясь и спѣша, —
Онъ честно шелъ къ одной высокой цѣли —

къ истинѣ, и въ исканіи ея заключалась вся его недолголѣтняя, быстро сгорѣвшая жизнь. Въ этомъ одна изъ важнѣйшихъ заслугъ Бѣлинскаго и предъ русскимъ обществомъ.

Какъ писатель, онъ училъ это общество мыслить, какъ человекъ, онъ училъ его любить мысль и истину и служить ей до послѣдняго издыханія, глубоко, искренно и честно. Эта заслуга еще болѣе увеличивается, если мы примемъ во вниманіе, что Бѣлинскій жилъ и дѣйствовалъ въ тѣ дни,

Какъ все коснѣло на Руси,
Дремля и раболѣпствуя позорно...

Въ тѣ дни его умъ кипѣлъ, горѣлъ и новыя стези прокладывалъ, работая упорно. Онъ не гнушался никакимъ трудомъ.

«Чернорабочій я—не бѣлоручка!»
Говаривалъ онъ—и напроломъ
Шелъ къ истинѣ великій самоучка!
Онъ насъ гуманно мыслить научилъ,
Едва ль не первый вспомнилъ о народѣ,
Едва ль не первый намъ заговорилъ
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ...
Не даромъ онъ, мужая по часамъ,
На взглядъ глупцовъ казался перемѣнчивъ;
Но,—предъ врагомъ заносчивъ и упрямъ,
Съ друзьями былъ и кротокъ и застѣнчивъ.
Не думалъ онъ, что стоитъ онъ вѣнца...
И разумъ въ немъ горѣлъ, не угасая,
Самимъ собой и жизнью до конца
Святое недовольство сохраняя.
То недовольство, при которомъ нѣтъ
Ни самообольщенья, ни застоя,
Съ которымъ и на склонѣ нашихъ лѣтъ
Постыдно мы не убѣжимъ изъ строя...

(Некрасовъ).

Укажемъ нѣкоторые изъ вышнихъ фактовъ жизни В. Г. Бѣлинскаго въ связи съ его литературной дѣятельностью.

Родился онъ въ Свеаборгѣ въ 1810 году въ семьѣ флотскаго лѣкаря Григорія Никифоровича Бѣлинскаго. Въ 1816 году отецъ перешелъ на службу въ г. Чембаръ, Пензенской губерніи, на должность уѣзднаго лѣкаря. Въ Чембарскомъ уѣздномъ училищѣ будущій писатель и получилъ первоначальное образованіе, рано обнаруживъ свои характерныя особенности: силу и независимость ума, серьезность понятій, чувство собственного достоинства и вмѣстѣ пылкость натуры, любовь къ чтенію и литературѣ, — по свидѣтельству тогдашняго директора народныхъ училищъ Пензенской губерніи романиста Лажечникова.

Лѣтомъ 1825 г. Бѣлинскій поступилъ въ пензенскую гимназію, крайне запущенное учебное заведеніе, какъ, впрочемъ, и большинство ихъ въ то время. Но тамъ среди архаическихъ педагоговъ былъ одинъ выдающійся учитель М. М. Поповъ, во многихъ отношеніяхъ благотворно повліявшій на Бѣлинскаго. Въ своихъ „воспоминаніяхъ“ онъ такъ отзывается о Бѣлинскомъ: „умъ Бѣлинскаго мало выносилъ познаній изъ школьнаго ученія; все, что передавалось по системѣ заучиванья, не шло ему въ голову. Но многое мимоходомъ запало въ его крѣпкую память; многое онъ понималъ самъ, своимъ пылкимъ умомъ, еще болѣе набиралось въ немъ свѣдѣній изъ книгъ, которыя онъ читалъ внѣ гимназіи. Бывало поэкзаменуйте его, какъ обыкновенно экзаменуютъ дѣтей, — онъ изъ послѣднихъ, а поговорите съ нимъ дома, по-дружески, — онъ первый ученикъ. Онъ бралъ у меня книги, журналы, пересказывалъ мнѣ прочитанное, задавалъ мнѣ вопросъ за вопросомъ. По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ неравный мнѣ, но не помню, чтобы въ Пензѣ съ кѣмъ-либо другимъ я такъ душевно разго-

варивалъ, какъ съ нимъ о наукахъ и литературѣ. Бывало, когда отправлюсь съ учениками загородъ на гербаризацію, во всю дорогу Бѣлинскій пристаётъ ко мнѣ съ вопросами о Гёте, Вальтеръ-Скоттъ, Байронъ, Пушкинъ, о романтизмѣ“.

Кромѣ Попова не безъ вліянія, вѣроятно, на Бѣлинскаго остались и его нерѣдкія бесѣды и оживленные споры съ его соквартирантами-семинаристами, бесѣды по философіи, богословію—о разныхъ вопросахъ общественной и частной жизни, и затѣмъ пензенскій театръ, страсть къ которому увлекала тогда всю учащуюся молодежь и которая осталась въ Бѣлинскомъ навсегда. Пробывъ въ гимназіи 3½ года (вмѣсто положенныхъ тогда 4-хъ), Бѣлинскій задумываетъ поступить въ Московскій университетъ. Исполненіе этого замысла было не легко, такъ какъ отецъ Бѣлинскаго, по ограниченности средствъ, не могъ содержать сына въ Москвѣ; но юноша рѣшилъ бѣдствовать, лишь бы только быть студентомъ, и въ августѣ 1829 года былъ зачисленъ въ студенты по словесному факультету, а въ концѣ того же года былъ принятъ на казенный счетъ.

Московскій Университетъ того времени принадлежалъ еще по своему характеру и направленію къ дореформенной эпохѣ; но въ немъ уже появились молодые профессора, знакомившіе студентовъ съ настоящей наукой. Талантливыя лекціи Н. И. Надеждина и М. Г. Павлова вводили слушателей въ кругъ идей германской философіи (Шеллинга и Окена), и вызывали среди молодежи сильное умственное возбужденіе. Увлеченіе интересами мысли и идеальными стремленіями соединило наиболѣе даровитыхъ студентовъ въ тѣсныя дружескіе кружки, изъ которыхъ вышли потомъ очень вліятельные дѣятели русской литературы и общественной жизни. Къ одному изъ такихъ кружковъ, (образовавшемуся около Н. В. Станкевича)

примкнулъ и Бѣлинскій и во многомъ подчинился его вліянію.

Бесѣды съ членами этого кружка, усиленное чтеніе, наконецъ, театръ, въ которомъ подвизались тогда такіе артисты, какъ Щепкинъ и Мочаловъ, — составляли прежде всего, содержаніе той духовной пищи, которою питался тогда Бѣлинскій. Но кончить курсъ и въ университетѣ Бѣлинскому не пришлось. Вслѣдствіе различныхъ мелкихъ столкновеній съ начальствомъ, а главное за написанную имъ въ духѣ шиллеровскихъ „Разбойниковъ“ трагедію („Димитрій Калининъ“), въ которой, между прочимъ, заключался энергическій протестъ противъ крѣпостного права, Бѣлинскій былъ исключенъ изъ университета въ 1832 году, „по неспособности“, а трагедія найдена была безнравственной и безчестящей университетъ.

Не имѣя никакихъ средствъ къ существованію, Бѣлинскій нѣкоторое время кое-какъ перебивался уроками и переводами. Ближе познакомившись съ профессоромъ Надеждинымъ, основавшимъ въ 1831 году журналъ „Телескопъ“, Бѣлинскій сталъ работать для этого журнала и, наконецъ, въ 1834 году выступилъ на настоящую свою дорогу съ первой своей серьезной критической статьей — „Литературныя мечтанія. Элегія въ прозѣ“ (въ журналѣ того же Надеждина „Молва“), представляющей собой горячо и блестяще написанный обзоръ историческаго развитія русской литературы. Статья произвела потрясающее дѣйствіе. Надо знать то время, чтобы надлежащимъ образомъ оцѣнить и содержаніе ея и ту ясность и смѣлость мысли, и силу убѣжденія, которыми она проникнута, и благодаря которымъ и теперь еще производитъ сильное впечатлѣніе.

Вотъ образчики критическихъ и общественныхъ взглядовъ современной Бѣлинскому эпохи. Гегелева философія заимствована изъ „Завѣщанія“ Владимира

Мономаха, лукавый западъ гнѣтъ, просвѣщеніе вредно, иѣмцы должны быть истреблены, Лермонтовъ—подражатель Бенедиктова и плохо владѣетъ стихомъ, романы Диккенса—произведенія уродливой бездарности, Пушкинъ плохой писатель, и опаснымъ соперникомъ ему Сенковскій считалъ нѣкоего Тимофеева, VII глава „Евгенія Онѣгина“—рабское подражаніе одной изъ главъ „Ивана Выжигина“; по мнѣнію Полевого—„Мертвыя души“—чепуха, Лажечниковъ считалъ „Ревизора“ каррикатурнымъ фарсомъ, годнымъ только для потѣхи райка и пр. и пр. Строго охранялся критикой отъ всякихъ нападеній авторитетъ Ломоносова, Сумарокова, Державина, Карамзина, въ геніи возводились разные третьестепенные писатели, какъ напр. Кукольникъ, котораго объявляли равнымъ Гёте и Байрону; въ литературѣ вообще господствовало самодовольство и взаимное восхваленіе. Во главѣ журналистики стояли Сенковскій и Булгаринъ.

Между тѣмъ Бѣлинскій въ своей статьѣ, правдиво и рѣзко нападая на различные незаслуженные авторитеты, устанавливаетъ понятіе о литературѣ въ высокомъ и идеальномъ смыслѣ и приходитъ къ тому выводу, что у насъ еще нѣтъ литературы, какъ искусства, вполне выражающаго духъ народа, его внутреннюю жизнь, а есть только отдѣльные писатели, заслуживающіе вниманія, но ихъ очень не много—всего четверо—Державинъ, Крыловъ, Грибоѣдовъ и Пушкинъ. Развивая ту мысль, что въ прошломъ нашей литературы господствовала одна подражательность, не имѣющая подъ собою никакой національной почвы, Бѣлинскій при этомъ спрашиваетъ: „Когда же наступитъ у насъ истинная эпоха искусства?“—Она наступитъ,—отвѣчаетъ на свой же вопросъ Бѣлинскій, будьте въ томъ увѣрены! Но для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось общество, въ которомъ бы выразилась физіономія могучаго русскаго народа;

надобно, чтобы у насъ было просвѣщеніе, созданное нашими трудами, возвращенное на родной почвѣ... Придетъ время—и оно разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, умственная фیزیомія народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будутъ на всѣ свои произведенія налагать печать русскаго духа! Но теперь намъ нужно ученье, ученье, ученье!“

Вся статья, проникнутая вообще высокимъ пониманіемъ искусства, впервые ставила принципиальные вопросы о связи его съ жизнью, о реализмѣ въ немъ и пр., и не удивительно, что она свѣжимъ своимъ духомъ привела въ восторгъ и увлекла однихъ, ожесточила и озлобила другихъ. Множество именъ, слывшихъ до сихъ поръ знаменитостями, потеряло теперь всякое значеніе и стало забываться, въ читателяхъ зародились и начали развиваться болѣе серьезные взгляды на литературу, новые интересы, вопросы и надежды, до сихъ поръ небывалыя. Всѣ ждали отъ Бѣлинскаго продолженія... И оно не замедлило. За первой статьёй послѣдовалъ цѣлый рядъ другихъ, помѣщавшихся сначала въ московскихъ журналахъ („Телескопъ“, „Московскій Наблюдатель“), а затѣмъ съ 1839 г.—въ петербургскихъ—(„Отечественныя Записки“, „Современникъ“),—не прерываясь до самой смерти Бѣлинскаго.

Взгляды критики на искусство и на его значеніе въ жизни, сначала отличавшіеся отвлеченностью, постепенно свѣтлѣли, углублялись, и авторъ шелъ впередъ въ теченіе всей своей 14-тилѣтней дѣятельности, мучительно переживая всѣ свои сомнѣнія, всѣмъ существомъ своимъ уходя въ рѣшеніе различныхъ жизненныхъ вопросовъ...

Постепенный ходъ умственнаго развитія Бѣлинскаго представляетъ собой три періода... Первый періодъ—періодъ, такъ сказать, романтизма Бѣлинскаго. Главнымъ литературнымъ выраженіемъ этого періода яви-

лась у Бѣлинскаго его трагедія; характеризуется онъ „субъективно—нравственной точкой зрѣнія на жизнь, выражаясь словами самого Бѣлинскаго, отвлеченной морализаціей, „прекрасно—душной“ войной съ дѣйствительностью, во имя личнаго, индивидуальнаго совершенствованія и идеала. При такой точкѣ зрѣнія центръ всего — человекъ, но не какъ продуктъ жизни, не какъ часть великаго цѣлаго — общества, а какъ самостоятельный нравственный міръ, самодовлѣющій и, какъ таковой, могущій развиваться и совершенствоваться помимо всякихъ общественныхъ условій.

Но, между тѣмъ, эти общественныя условія создаютъ часто такое положеніе, когда при всемъ личномъ стремленіи къ совершенству и при самой страстной отвлеченно-моральной проповѣди — зло все-таки остается господствующимъ, кругомъ совершенствующейся личности льются слезы, царятъ горе и мракъ... Какъ относиться ко всему этому, кого считать виноватымъ, да и есть ли виноватые?—эти жгучіе вопросы заполнили собой всю умственную жизнь Бѣлинскаго послѣ выступленія его въ литературѣ въ качествѣ критика. Въ своихъ статьяхъ онъ далъ на нихъ два рѣзко несходные отвѣта и, такимъ образомъ, рѣзко опредѣлилъ второй періодъ своей дѣятельности—съ 1837 года по 1839 годъ—періодъ философско - отвлеченный, и третій—послѣдній (съ 1840 по 1848 г.)—періодъ социально-публицистическій.

Какъ уже замѣчено было раньше, въ университетѣ во время пребыванія тамъ Бѣлинскаго, организовалось нѣсколько студенческихъ кружковъ, собиравшихся для чтенія книгъ и обсужденія различныхъ научныхъ и общественныхъ вопросовъ. Эти кружки не распались и послѣ окончанія ихъ членами курса въ университетѣ, а напротивъ, пріобрѣли еще болѣе жизненное и общественное значеніе, являясь почти

единственными путями и формами для удовлетворенія умственныхъ запросовъ въ средѣ начавшей зарождаться тогда русской интеллигенціи.

Одинъ изъ такихъ кружковъ, во главѣ котораго стоялъ Герценъ, съ самаго начала увлекался общественными вопросами и, главнымъ образомъ, интересовался французскими экономическими и социальными теоріями; другой, образовавшійся около Станкевича, воспитался, по преимуществу, на отвлеченной нѣмецкой философіи, и, увлекаемый перспективой теоретическаго разрѣшенія всѣхъ глубочайшихъ вопросовъ человѣческой мысли, весь отдался этой задачѣ, пренебрегая всѣмъ остальнымъ, какъ ничтожнымъ въ сравненіи съ общими всеобъемлющими вопросами. Къ этому-то кружку, какъ сказано раньше, и примкнулъ Бѣлинскій. Кромѣ его въ составъ кружка въ разное время входили К. Аксаковъ, Боткинъ, Бакунинъ, Кудрявцевъ, Грановскій, Кетчеръ, Строевъ, Ключниковъ и др. выдающіяся личности своего времени. Бѣлинскій многое усвоилъ себѣ изъ взглядовъ этого кружка и, что самое важное, познакомился, благодаря, главнымъ образомъ, Бакунину, съ философскими взглядами знаменитаго тогда нѣмецкаго мыслителя Гегеля, идеи котораго считались въ то время, можно сказать, откровеніемъ высшаго разума и въ Германіи, и у насъ.

Подъ вліяніемъ этой философіи члены кружка стремились объяснить все существующее съ высшей всеобъединяющей точки зрѣнія, найти связь и смыслъ всѣхъ явленій жизни, всѣхъ вопросовъ человѣческаго духа, — понять и уловить въ жизни (по философской терминологіи) міровую идею, которая выражаетъ себя въ дѣйствительности во всѣхъ ея явленіяхъ, — только съ разныхъ сторонъ. Для отысканія истины въ бытіи Гегель предложилъ „діалектическій методъ мышленія“, по которому мыслитель долженъ искать, нѣтъ ли въ

предметъ, о которомъ онъ мыслить, качества и силы, противоположныхъ тому, что представляется этимъ предметомъ на первый взглядъ: такимъ образомъ предметъ обзрѣвается со всѣхъ сторонъ, и истина о немъ является не иначе, какъ слѣдствіе борьбы всевозможныхъ противоположныхъ мнѣній. Такимъ путемъ вмѣсто односторонняго взгляда на предметъ является о немъ полное всестороннее изслѣдованіе и точное понятіе. Объяснять дѣйствительность, такимъ образомъ, стало существенной обязанностью философскаго мышленія.

Отсюда явилось чрезвычайное вниманіе къ этой дѣйствительности, особенно, если имѣть въ виду, что во всѣхъ ея явленіяхъ отражается міровая идея. Отъ такого отношенія къ дѣйствительности у послѣдователей Гегеля, пошедшихъ далѣе его, выходило, что всѣ безъ исключенія явленія имѣютъ совершенно одинаковое право на существованіе и на вниманіе къ себѣ. Исчезаетъ между ними всякое различіе и въ смыслѣ нравственнаго достоинства. Если бы не было мрака, не существовало бы и понятія о свѣтѣ; мракъ и свѣтъ — различныя формы одной и той же сущности, различныя проявленія одной и той же „единой вѣчной идеи“. Пушкинъ и Аракчеевъ, свобода и крѣпостное право — все это только грани одной и той же великой призмы. Всѣ явленія жизни — только конкретныя выраженія абсолютной идеи. А такъ какъ эта идея абсолютно разумна, то разумны и всѣ ея проявленія, т.-е. вся дѣйствительность.

Такимъ путемъ послѣдователи Гоголя пришли къ провозглашенію извѣстнаго тезиса: „что дѣйствительно, то и разумно; что существуетъ, то и мудро, и нравственно, и справедливо“. Отсюда отрицаніе всякой морали, смысла всякаго воздѣйствія на жизнь, преклоненіе предъ ея формами, какъ бы онѣ ни были уродливы, и, полная общественная бездѣтельность,

индійское созерцаніе бытія. Изучавшіе Гегеля при этомъ одного у него не замѣтили, что онъ не все существующее признавалъ достойнымъ названія дѣйствительнаго.

Какъ бы то ни было, эти взгляды были усвоены и Бѣлинскимъ и со всей страстностью неофита развивались имъ во многихъ статьяхъ начала его критической дѣятельности и особенно въ статьѣ о „Бородинской годовщинѣ“ (1839 г.), о которой онъ впоследствии не могъ слышать безъ содроганія. Произведенія литературы при этомъ, согласно общему духу Гегелианства, разбирались по преимуществу съ эстетической отвлеченной точки зрѣнія, и высоко ставились только тѣ, въ которыхъ не было протеста противъ дѣйствительности. Но эта же статья явилась и поворотнымъ пунктомъ въ его воззрѣніяхъ. Сближеніе кружка Станкевича съ другимъ кружкомъ, всегда стоявшимъ за преобразование дѣйствительности во имя національнаго благосостоянія, рѣзкія нападенія на Бѣлинскаго его противниковъ, доказывавшія односторонность пониманія имъ Гегелевской философіи, переездъ въ Петербургъ въ 1839 году съ новыми вліяніями и впечатлѣніями отъ русской дѣйствительности, наконецъ, процессъ собственнаго духовнаго развитія стали постепенно возвращать критика къ признанію морали, но уже въ смыслѣ идеала общественной справедливости, съ вытекающей отсюда обязанностью преобразовать дѣйствительность въ духѣ этого идеала.

Все болѣе и болѣе Бѣлинскій сталъ проникаться живыми интересами русской жизни, все глубже и глубже началъ постигать смыслъ ея явленій—часто горькій и тяжелый — и все рѣшительнѣе, и рѣшительнѣе началъ стремиться къ тому, чтобы объяснить публикѣ значеніе литературы для жизни, а литературѣ тѣ отношенія, въ которыхъ она должна сто-

ять къ жизни, какъ одна изъ главныхъ силъ, управляющихъ ея развитіемъ.

Съ 1840 года съ каждой новой статьей мы находимъ у Бѣлинскаго все менѣе и менѣе разсужденій объ эстетическихъ и тому подобныхъ отвлеченностяхъ, все замѣтнѣе и замѣтнѣе становится преобладаніе интересовъ и элементовъ, данныхъ русскою жизнію. Въ письмахъ Бѣлинскаго, собранныхъ въ извѣстной книгѣ Пыпина и въ книгѣ „Очерки Гоголевскаго періода“, можно прослѣдить почти шагъ за шагомъ развитіе того духовнаго процесса, который въ концѣ концовъ привелъ Бѣлинскаго къ полному разрыву съ своимъ прежнимъ міросозерцаніемъ.

„Исторія мнѣній Бѣлинскаго любопытна и какъ исторія развитія понятій — въ тогдашнихъ условіяхъ нашей образованности — у человѣка даровитаго, который проникнуть горячимъ желаніемъ истины и общественнаго блага, и который, начавши признаніемъ даннаго порядка вещей, мало-по-малу, путемъ жизненнаго опыта и размышленій, приходитъ къ его отрицанію и стремится къ инымъ идеаламъ. То же пережили, слѣдуетъ замѣтить, и почти всѣ другіе члены кружка Станкевича. Начавъ полнымъ консерватизмомъ или безучастіемъ къ общественнымъ вопросамъ, почти всѣ они пришли потомъ къ критическому пониманію тогдашней жизни. Бѣлинскаго отъ нихъ отличаетъ, главнымъ образомъ, энергія, которую онъ всегда вносилъ въ дѣло своихъ убѣжденій, страстное увлеченіе тѣмъ, что казалось ему истиной, неспособность останавливаться на полдорогѣ между двумя разными точками зрѣнія, — какъ это бываетъ у большинства (Пыпинъ).

Чего стоило Бѣлинскому его развитіе, на это онъ отчасти указываетъ самъ, отвѣчая на обвиненія своихъ противниковъ — славянофиловъ въ отсутствіи твердыхъ убѣжденій, въ легкомысленной и быстрой перемѣнѣ взглядовъ и пр., и пр. „Что касается вопроса,

сообразна ли съ способностью страстного, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любить истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ, откровенно признаваясь, что онъ, какъ и другіе, можетъ ошибаться и заблуждаться. Для того же, чтобы вѣрно судить, легко ли отдѣливался такой человѣкъ отъ убѣжденій, которыя уже не удовлетворяли его, и переходилъ къ новымъ, или это всегда бывало для него болѣзненнымъ процессомъ, стоило ему горькихъ разочарованій, тяжелыхъ сомнѣній, мучительной тоски для того, чтобы судить объ этомъ, прежде всего надо быть увѣреннымъ въ своемъ безпристрастіи и добросовѣстности“...

Дѣятельность Бѣлинскаго въ Петербургѣ почти все время сосредоточивалась въ „Отечественныхъ Запискахъ“, которыя и сдѣлались, благодаря ему, центромъ и органомъ всего передового, талантливаго и живого въ тогдашней литературѣ. Въ кругъ лицъ, близкихъ къ Бѣлинскому, входили тогда Панаевъ, Тургеневъ, Некрасовъ, Одоевскій, Соллогубъ, затѣмъ Достоевскій, Анненковъ, Григоровичъ. Всѣ они были молоды, увлекались, нерѣдко ошибались. Среди ихъ Бѣлинскій былъ самымъ зрѣлымъ, сложившимся умомъ и дѣйствительно былъ для нихъ „учителемъ“, какъ его называетъ Некрасовъ, всѣми любимымъ и на всѣхъ вліявшимъ самымъ благотворнымъ образомъ.

Въ это время идея личности и ея правъ, идея общественнаго благоустройства всецѣло владѣла Бѣлинскимъ, и онъ неустанно развивалъ ее, насколько конечно, позволяла строгая цензура того времени, и въ годовыхъ „Обозрѣніяхъ“ литературы, и при анализѣ отдѣльных ея явленій, въ рецензіяхъ отдѣльных книгъ, при разборѣ сочиненій того или другаго автора.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ велъ упорную борьбу и съ своими противниками, которые въ 1841 году обзаве-

лись еще новым органом „Москвитянинъ“ под редакціей Погодина и Шевырева. Эта борьба перешла затѣмъ вообще въ борьбу между такъ называемыми „западниками“ и „славянофилами“ и въ сущности не окончилась и до сихъ поръ.

Въ 1843 г. Бѣлинскій женился на москвичкѣ М. В. Орловой, и, по скуднымъ отзывамъ друзей, можно думать, что съ этого времени его частная жизнь, почти неподвижная, сдѣлалась нѣсколько свѣтлѣе и полнѣе.

Въ концѣ 1845 г. Бѣлинскому пришлось оставить „Отечественныя Записки“ вслѣдствіе крайне непосильной работы, которой требовалъ отъ Бѣлинскаго редакторъ Краевскій, вообще довольно безсовѣстно эксплуатировавшій доверчиваго и увлекавшагося писателя. За 1000 рублей въ годъ онъ заставлялъ Бѣлинскаго писать даже объ азбукахъ, пѣсенникахъ, гадательныхъ книжкахъ, поздравительныхъ стихахъ, о клопахъ, наконецъ, о нѣмецкихъ книгахъ, въ которыхъ Бѣлинскій, по незнанію языка, не умѣлъ даже перевести названіе, объ архитектурѣ, и пр. и пр.

Благодаря такой, прямо „каторжной“ работѣ, равно какъ климату, стѣсненной матеріальной обстановкѣ и вообще — то некрѣпкое здоровье Бѣлинскаго вскорѣ пошатнулось, и появились угрожающіе признаки чахотки. Его друзья устроили ему поѣздку на югъ Россіи а въ слѣдующій годъ за границу, Но ни та, ни другая поѣздки не принесли ему никакой пользы даже въ нравственномъ смыслѣ. Вездѣ и въ Крыму и въ Парижѣ Бѣлинскій жилъ только однимъ интересомъ — успѣхами „россійской литературы“, особенно „натуральной“ школы, и мысленной борьбой съ своими противниками. Заграницей — въ Зальцбруннѣ написалъ онъ и свое знаменитое письмо къ Гоголю по поводу книги „Переписка съ друзьями“. Не будучи предназначено авторомъ для печати, оно говоритъ обо всемъ от-

крыто, не стѣсняясь цензурой, безъ умолчаній и недомолвокъ, и прекрасно обрисовываетъ образъ мыслей Бѣлинскаго въ послѣдній періодъ его жизни.

Приведемъ изъ этого письма, нѣсколько отдѣльныхъ мыслей. По мнѣнію Бѣлинскаго, „Россія видитъ свое спасеніе... въ успѣхахъ цивилизаціи, просвѣщенія, гуманности. Ей нужны пробужденіе въ народѣ чувства человѣческаго достоинства, столько вѣковъ попираемаго, права и законы сообразные съ здравымъ смысломъ и справедливостью, и строгое, по возможности, ихъ исполненіе. А вмѣсто того, она еще представляетъ собой страну, гдѣ люди торгуютъ людьми, гдѣ нѣтъ гарантіи для личности, чести и собственности. Самые живые, современные, національные вопросы въ Россіи теперь: уничтоженіе крѣпостного права, ослабленіе тѣлеснаго наказанія, введеніе по возможности строгаго исполненія хотя тѣхъ законовъ, которыя уже есть. Это чувствуетъ даже само правительство... Вотъ вопросы, которыми тревожно занята Россія въ ея апатическомъ полуснѣ. И въ это то время великій писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными твореніями такъ могущественно содѣйствовалъ самосознанію Россіи, давши ей возможность взглянуть на себя, какъ будто въ зеркалѣ, является съ книгой, въ которой учитъ помѣщика наживать съ крестьянъ побольше денегъ и ругать ихъ неумытыми рылами! И это ли не должно было привести меня въ негодованіе?“ спрашиваетъ Бѣлинскій Гоголя и продолжаетъ: „Да если бы вы обнаружили покушеніе на мою жизнь, и тогда бы я не болѣе возненавидѣлъ васъ за эти позорныя строки“. Бѣлинскій объясняетъ далѣе, какъ опасно довольствоваться наблюденіями надъ русскою жизнью изъ „прекраснаго далека“, изъ котораго можно видѣть предметы какими угодно, и указываетъ Гоголю, что тотъ не понимаетъ русской публики.

„Ея характеръ опредѣляется положеніемъ русскаго общества, въ которомъ кипятъ и рвутся наружу свѣжія силы, но сдавленные тяжелымъ гнетомъ, не находя исхода, производятъ только уныніе, тоску, апатію. Только въ одной литературѣ, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движеніе впередъ. Вотъ почему званіе писателя у насъ такъ почетно. Письмо характеризуетъ вообще всю русскую жизнь того времени, рѣзко касается всѣхъ больныхъ мѣстъ ея и оканчивается приглашеніемъ Гоголя отречься отъ послѣдней книги и тяжкій грѣхъ ея появленія искупить новыми твореніями, которыя напомнили бы прежнія. По возвращеніи изъ-за границы Бѣлинскій предполагалъ работать съ новыми силами въ „Современникѣ“ Пекрасова, гдѣ онъ пристроился еще до поѣздки, и гдѣ онъ могъ чувствовать себя гораздо спокойнѣе, чѣмъ подъ редакціей Краевского. Но надежды были напрасны. Болѣзнь дѣлала свое дѣло... Къ ней присоединились тяжелыя нравственные безпокойства въ виду усилившихся цензурныхъ строгостей подъ вліяніемъ событій на западѣ въ 1848 году... Бѣлинскаго рѣшено было уже выслать изъ столицы съ воспрещеніемъ ему что бы то ни было писать. Но 26 мая 1848 года онъ умеръ, можно сказать въ моментъ ареста (см. „Историческій Вѣстникъ“, мартъ 1898 г.). Небольшая кучка близкихъ ему робко провожала его до Волкова кладбища. Самое имя его послѣ смерти долго не могло появляться въ печати.

Черезъ 50 лѣтъ оно торжественно чествуется учебными и учеными учрежденіями по всей Россіи... Такъ переменчиво время!.. Какія же заслуги цѣнить въ Бѣлинскомъ русская литература, русское общество? Отвѣтъ отчасти уже данъ вышесказаннымъ, для большей ясности дополнимъ его еще нѣсколькими чертами.

Прежде всего, Бѣлинскій первый создалъ русскую литературную критику въ серьезномъ смыслѣ этого слова. До Бѣлинскаго наша критика, которую можно, пожалуй, вести отъ Сумарокова, состояла почти исключительно въ оцѣнкѣ стиля сочиненій и затѣмъ въ опредѣленіи, насколько оно удовлетворяло формою и содержаніемъ ложноклассической теоріи—Буало,—литературному кодексу русской словесности XVIII и начала XIX столѣтій. Сравнительно съ этой стилистической критикой (на основаніи ложноклассической теоріи) нѣкоторый шагъ впередъ уже представляетъ критика Карамзина, Каченовскаго и Жуковскаго, которые оставили нѣсколько образцовъ теоретико-сравнительной критики... Болѣе замѣчательна въ этомъ отношеніи дѣятельность профессора Московскаго университета А. О. Мерзлякова, который въ 1812 году въ цѣломъ рядѣ публичныхъ чтеній разобралъ почти всѣ выдающіяся произведенія нашей ложноклассической литературы на основаніи современной ему *французской и нѣмецкой теоріи* искусства. Но и это была критика чисто эстетическая, равно какъ и серьезная критика профессора Надеждина, который впервые сталъ разсматривать—„понята ли и прочувствована идея произведенія, есть ли въ немъ художественное единство, выдержаны ли и вѣрны ли человѣческой природѣ, условіямъ времени и народности характеры дѣйствующихъ лицъ“.

Но вопросы объ общественномъ значеніи произведенія, о связи литературы съ жизнью, о взаимномъ ихъ отношеніи и т. п. еще не поднимались. На нихъ первый обратилъ серьезное вниманіе Бѣлинскій и придалъ такимъ образомъ критикѣ общественное значеніе; вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря своему таланту, пониманію законовъ искусства и эстетическому чутью, онъ пошелъ гораздо глубже своихъ предшественниковъ и въ опредѣленіи теоретическихъ понятій о литературѣ.

Въ періодъ своего гегеліанства, стоя, согласно общему духу своего міросозерцанія, на эстетической точкѣ зрѣнія, какъ и предшественники, и основываясь на теоріи бессознательнаго творчества, Бѣлинскій даетъ намъ превосходные образцы оцѣнки литературныхъ произведеній въ чисто художественномъ отношеніи. Его эстетическая оцѣнка Пушкина, Гоголя, Лермонтова, затѣмъ Ломоносова, Державина и друг. до сихъ поръ сохраняетъ всю свою силу и служитъ основаніемъ для дальнѣйшаго изученія этихъ писателей. Въ послѣдующемъ періодѣ Бѣлинскій все болѣе и болѣе отклоняется отъ чисто эстетической точки зрѣнія и даетъ преобладающее мѣсто въ своей критикѣ требованіямъ жизни и общества. Онъ ищетъ теперь въ произведеніи, главнымъ образомъ, уже не художественныхъ достоинствъ, хотя и продолжаетъ высоко цѣнить ихъ, а отраженія жизни, разумѣніе которой и посильное служеніе которой считаетъ обязательнымъ и для художника и для критики. Такимъ образомъ, цѣня въ литературѣ одно изъ главныхъ средствъ общественнаго развитія, Бѣлинскій переводитъ критику на публицистическую почву и впервые ставитъ изящной литературѣ серьезную задачу—служить дѣйствительнымъ интересамъ жизни, выражать ее и вліять на нее воспитывающимъ и развивающимъ образомъ. (Наиболѣе точно и опредѣленно Бѣлинскій высказался по этому вопросу въ своей статьѣ „Взглядъ на русскую литературу 1847 г.“). Всѣ эти и подобные взгляды Бѣлинскаго находили себѣ живой откликъ и въ общественномъ сознаніи, особенно выросшемъ во 2-й половинѣ 40-хъ годовъ, (между прочимъ, благодаря кружку Герцена) и во многихъ авторахъ. Въ это время появился цѣлый рядъ такихъ произведеній, которыя показывали нарожденіе новой жизни и силы въ литературѣ. Бѣлинскимъ было сразу угадано и разъяснено великое общественное значеніе сочиненій Го-

голя, а по слѣдамъ его шла цѣлая школа, считавшая и Гоголя, и Бѣлинскаго своими учителями и получившая названіе „натуральной“. Въ это время появилась „Деревня“ Григоровича, „Записки охотника“ Тургенева, „Бѣдные люди“ Достоевскаго, „Запутанное дѣло“ Салтыкова, „Кто виноватъ?“ Искандера, пѣсни на народныя темы Некрасова, первыя произведенія Гончарова, Островскаго, Писемскаго.

Эту школу, которая впервые стала съ интересомъ и любовью изучать и изображать низшіе общественныя классы, Бѣлинскій постоянно защищалъ отъ всѣхъ нападеній. Особенно не нравилась эта школа романтикамъ и тому слою общества, который издавна, подъ вліяніемъ крѣпостничества и чиновничества, привыкъ презирать необразованнаго мужика. Бѣлинскій старался этимъ людямъ выяснить и нравственное значеніе, и религіозный долгъ, и общественную необходимость участія и интереса къ низшимъ классамъ... „Посмотрите“, — „говоритъ онъ, — какъ въ нашъ вѣкъ вездѣ заняты участію низшихъ классовъ, какъ частная благотворительность всюду переходитъ въ общественную, какъ вездѣ основываются хорошо организованныя богатые общества для распространенія образованія въ низшихъ классахъ, для пособія нуждающимся и страждущимъ, для отвращенія и предупрежденія нищеты и ея неизбежнаго слѣдствія — безнравственности и разврата... Это общее движеніе, столь благородное, столь человѣческое, столь христіанское встрѣтило своихъ порицателей въ лицѣ поклонниковъ тупой и косной патріархальности. „Но это ли не отрадное въ высшей степени явленіе новѣйшей цивилизаціи, успѣховъ ума, просвѣщенія и образованности? И могло ли не отразиться въ литературѣ это новое общественное движеніе, въ литературѣ, которая всегда бываетъ отраженіемъ общества! Въ этомъ отношеніи литература сдѣлала едва ли не

больше: она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, чѣмъ только отразила его въ себѣ, скорѣе упредила его, нежели только не отстала отъ него“.

Въ другомъ мѣстѣ Бѣлинскій защищаетъ новое направление отъ упрека въ утилитарности, и объясняетъ, что общественная полезность нисколько не мѣшаетъ эстетическому достоинству произведеній, что искусство въ этомъ отношеніи можетъ идти совершенно рядомъ съ наукой. „Политико-экономъ, дѣйствуя на умъ своихъ читателей или слушателей, доказываетъ, вооружаясь статистическими цифрами, что положеніе такого-то класса въ обществѣ много улучшилось или много ухудшилось вслѣдствіе такихъ и такихъ-то причинъ. Поэтъ, вооружаясь живымъ и яркимъ изображеніемъ дѣйствительности, показываетъ въ вѣрной картинѣ, дѣйствуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ дѣйствительно много ухудшилось или улучшилось отъ такихъ-то и такихъ причинъ. Одинъ доказываетъ, другой показываетъ, и оба убѣждаютъ—только одинъ логическими доводами, другой—картинами. Но перваго слушаютъ и понимаютъ немногіе, другого — всѣ. Высочайшій и священнѣйшій интересъ общества есть его собственное благосостояніе, равно простертое на cadaго изъ его членовъ. Путь къ этому благосостоянію—общественное сознаніе, а сознанію искусство можетъ способствовать не меньше науки. Тутъ и наука, и искусство равно необходимы!.. „Поэзія реальная, поэзія жизни, поэзія дѣйствительности—истинная и настоящая поэзія нашего времени. Ея отличительный характеръ состоитъ въ вѣрности дѣйствительности... Она воспроизводитъ ее и, какъ выпуклое стекло, отражаетъ въ себѣ подъ одной точкой зрѣнія, разнообразныя ея явленія, выбирая изъ нихъ тѣ, которыя нужны для составленія полной, оживленной и единой картины!“ Критикъ признаетъ и

„безпощадную откровенность“ искусства и убѣжденъ, что въ поэтическомъ изображеніи всякая дѣйствительность прекрасна. „Гдѣ истина, тамъ и поэзія, тамъ и нравственность. „Факты говорятъ громче словъ; вѣрное изображеніе нравственнаго безобразія могущественнѣе всѣхъ выходокъ противъ него“.

Такимъ образомъ, со времени Бѣлинскаго критика и литература пошли рука объ руку и своей разработкой разнообразныхъ и наболѣвшихъ вопросовъ общественной жизни во многомъ подготовили слѣдующую за реакціоннымъ періодомъ (1848—1855 г.) эпоху—эпоху реформъ Александра II, когда русское общество дождалось разрѣшенія нѣкоторыхъ изъ этихъ вопросовъ, а другіе стали болѣе доступны для обсуждения.

Въ этомъ смыслѣ можно согласиться съ г. Венгеровымъ, что Бѣлинскій есть основа, первоисточникъ всей новой русской литературной мысли, живое воплощеніе всѣхъ тѣхъ новыхъ началъ, которыя сдѣлали русскую литературу важнѣйшимъ факторомъ новаго направленія русской гражданственности. Основнымъ его желаніемъ всегда было просвѣщеніе—въ европейскомъ или, точнѣе, въ общечеловѣческомъ смыслѣ. Его тяжело поражало невѣжество и забитость массъ, свѣтское невѣжество высшихъ классовъ, обскурантизмъ, введенный въ систему, ничтожество общественной жизни. Въ одномъ просвѣщеніи онъ видѣлъ надежду на лучшее будущее. Тяжелыя цензурныя условія того времени не давали Бѣлинскому возможности хоть сколько-нибудь полно изложить свои взгляды—и онъ излагалъ ихъ въ тѣхъ тѣсныхъ предѣлахъ, какіе позволяла литературная критика—единственно возможная форма публицистики въ то время; но его понимали и въ этихъ предѣлахъ (Пыпинъ).

Яснѣе онъ высказывался, конечно, въ письмахъ, въ устной бесѣдѣ, и тамъ онъ горячо обсуждалъ самые

разнообразные вопросы (вопросъ о воспитаніи, вопросъ женскій, семейный, вопросъ о народности, о крѣпостномъ правѣ, о наиболѣе справедливыхъ основаніяхъ общественнаго строя и пр. и пр.) и своимъ сердечнымъ отношеніемъ къ нимъ увлекалъ читателей, заставлялъ ихъ думать, чувствовать и дѣйствовать, — какъ требовалъ долгъ честнаго человека и гражданина. Отсюда, конечно, еще не слѣдуетъ, что всѣ идеи Бѣлинскаго — его собственныя идеи. Большая часть ихъ была идеями и цѣлаго круга лицъ, среди которыхъ вращался Бѣлинскій, какъ замѣчено выше. Это были идеи и Станкевича, и Грановскаго, и Герцена, и нѣмецкихъ философовъ и французскихъ экономистовъ. Великая заслуга Бѣлинскаго не въ томъ, что онъ лично додумался до всѣхъ этихъ идей. Этого почти никогда не бываетъ, и значеніе великихъ людей не на этомъ, главнымъ образомъ, основывается. Значеніе Бѣлинскаго въ томъ, что онъ, благодаря своей сердечности и способности беззавѣтно отдаваться исканію истины, явился центральнымъ лицомъ въ этомъ кругу, воплотилъ въ себѣ духъ цѣлой эпохи, одного изъ замѣчательнѣйшихъ моментовъ въ исторіи русской культуры. Его заслуга въ томъ, что онъ, какъ выражается г. Венгеровъ, „провелъ эти идеи черезъ свое великое сердце, черезъ горнило сожигавшаго его внутренняго пламени и сообщилъ имъ отпечатокъ своей идеально-прекрасной личности. Великій праведникъ литературы русской, рыцарь безъ страха и упрека, на свѣтлой памяти котораго нѣтъ ни единого пятнышка, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и великимъ страстотерпцемъ новой русской мысли. Онъ глубоко выстрадалъ свои убѣжденія и въ полномъ смыслѣ слова писалъ лучшею кровью своего сердца“.

Съ другой стороны, Бѣлинскій, по мнѣнію такого знатока, какъ Пыпинъ, былъ настоящимъ основателемъ исторіи русской литературы съ XVIII вѣка. Онъ

положилъ конецъ тому взгляду, по которому исторія литературы была только хронологическимъ спискомъ произведеній и біографій писателей съ голословными одобреніями или порицаніями, и первый придалъ изученію литературныхъ произведеній дѣйствительно историческій—прагматическій—характеръ, выясняя связь произведеній съ жизнью и ихъ постепенное развитіе.

Положимъ, онъ понималъ литературу, главнымъ образомъ, только, какъ художественныя произведенія, и мало касался внѣшней фактической стороны исторіи литературы, но это уже вина не его, а времени и состоянія вообще нашей науки, тогда только что начавшей нарождаться.

По своимъ историческимъ взглядамъ, Бѣлинскій, какъ ясно и изъ предыдущаго, былъ по преимуществу западникъ, и представители противоположнаго направленія — такъ называемой „официальной народности“ (Шевыревъ, Погодинъ) и затѣмъ вообще славянофильства — были всегда его ярыми противниками, надо сказать, часто грубыми, неприличными и недобросовѣстными. Но, тѣмъ не менѣе, нельзя сказать, что Бѣлинскій ни въ чемъ не сходилъ съ славянофилами. Правда, Бѣлинскій всегда оставался страстнымъ поклонникомъ реформъ Петра Великаго, котораго славянофилы считали врагомъ Россіи; правда, что онъ смѣялся надъ ихъ крайностями и т. п., но, вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣдуетъ помнить, что Бѣлинскій первый надлежащимъ образомъ истолковалъ понятіе „народность“, всегда требовалъ уваженія къ ней и проявленія ея въ разныхъ сторонахъ русской жизни, что онъ негодовалъ на внѣшнюю подражательность нашу иностранцамъ и во многомъ вообще признавалъ славянофиловъ правыми. Только партійное раздраженіе послѣднихъ не позволяло имъ обратить на все это вниманіе и такъ же благородно относиться къ своему противнику, какъ онъ относился къ нимъ.

Понималъ Бѣлинскій и слабыя стороны западниковъ и среди ожесточенной полемики сумѣлъ сохранить между этими противоположными лагерями совершенно самостоятельное — среднее положеніе, единственно вѣрное и въ настоящее время. „Народности суть личности человѣчества, — писалъ онъ, — и въ отношеніи къ этому вопросу я скорѣе готовъ перейти на сторону славянофиловъ, нежели оставаться на сторонѣ гуманистическихъ космополитовъ. Но, къ счастью, я надѣюсь остаться на своемъ мѣстѣ, не переходя ни къ кому“. Его сочувствіе Западу не было слѣпымъ увлеченіемъ, а сознательной оцѣнкой полезныхъ и вредныхъ сторонъ европейской жизни. Въ славянофильствѣ его возмущала не мысль объ особенностяхъ русской народности, а мысль о народномъ русскомъ первенствѣ, создающемся на развалинахъ другихъ народностей, какъ мысль совершенно не философская, не цивилизованная и не христіанская. То же умѣнье Бѣлинскаго разобратся въ пестрой и страстной путаницѣ взглядовъ и способность угадать въ ней истину мы усматриваемъ и во многихъ другихъ статьяхъ его по самымъ животрепещущимъ вопросамъ своего времени.

Подводя итогъ всему вышеизложенному, мы должны сказать въ заключеніе, что Бѣлинскаго слѣдуетъ считать однимъ изъ главнѣйшихъ дѣятелей въ исторіи развитія русскаго самосознанія, возмужанія и укрѣпленія русской мысли, очищенія и развитія критическаго вкуса, одной изъ главныхъ причинъ современной зрѣлости и жизненности русской литературы со всѣми протекающими отсюда общественными послѣдствіями.

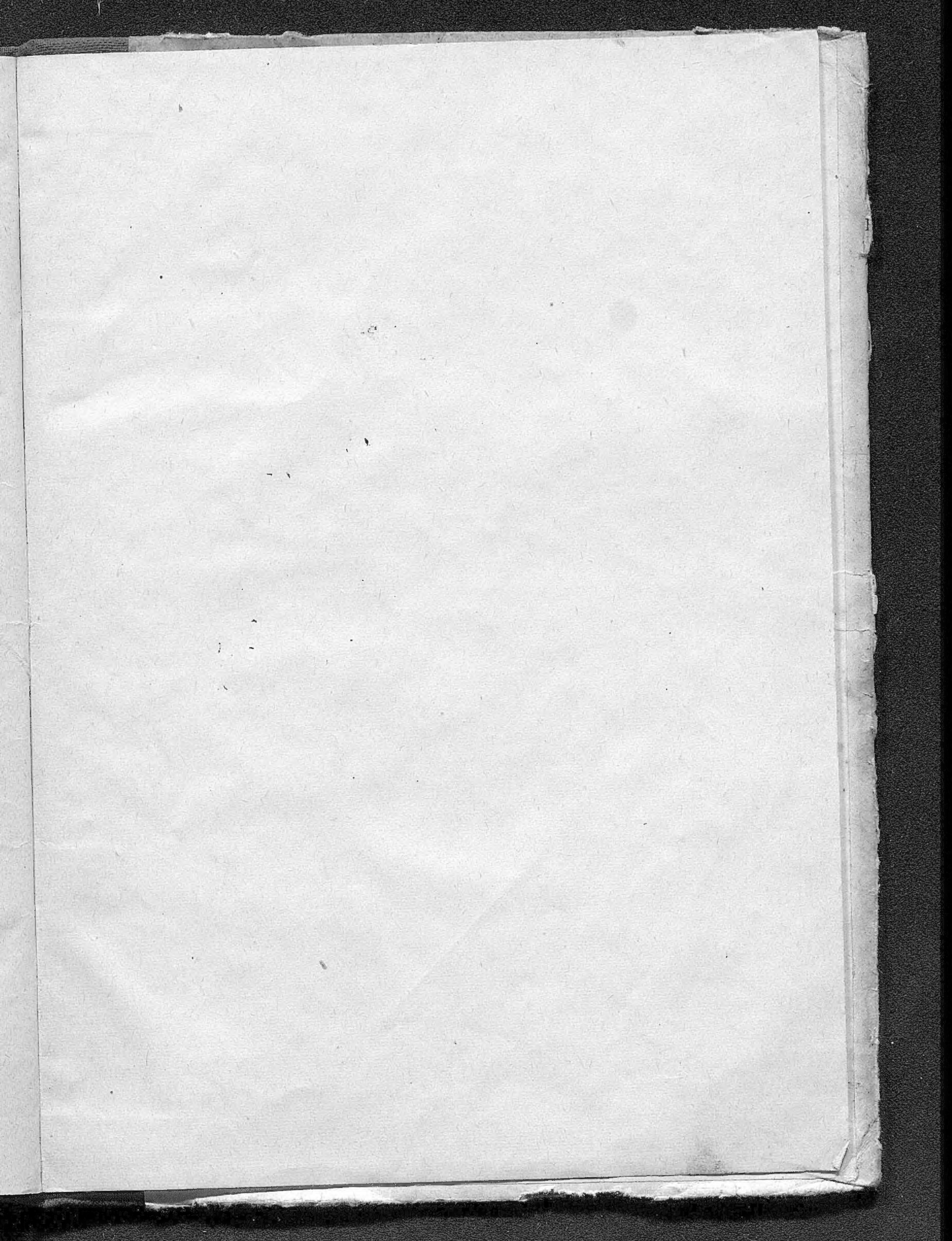
Однимъ изъ такихъ послѣдствій, намъ кажется, слѣдуетъ считать и самый фактъ общественнаго торжественнаго чествованія памяти писателя — хорошій признакъ нашего времени. Это чествованіе ясно показываетъ замѣтный культурный ростъ русскаго общества, которому, очевидно, дороги и близки завѣты Бѣлинскаго, то, во что онъ вѣрилъ, за что боролся и чему училъ, — показываетъ, что это общество понимаетъ и высоко цѣнитъ значеніе высшихъ потребностей человѣческаго духа, которымъ служилъ Бѣлинскій, высоко цѣнитъ и ту страстную любовь къ истинѣ, ту неутомимую ея жажду и стремленіе къ ней, которыя владѣли Бѣлинскимъ въ теченіе всей его ярко вспыхнувшей и быстро сгорѣвшей жизни, — жизни честной мысли и горячаго чувства.

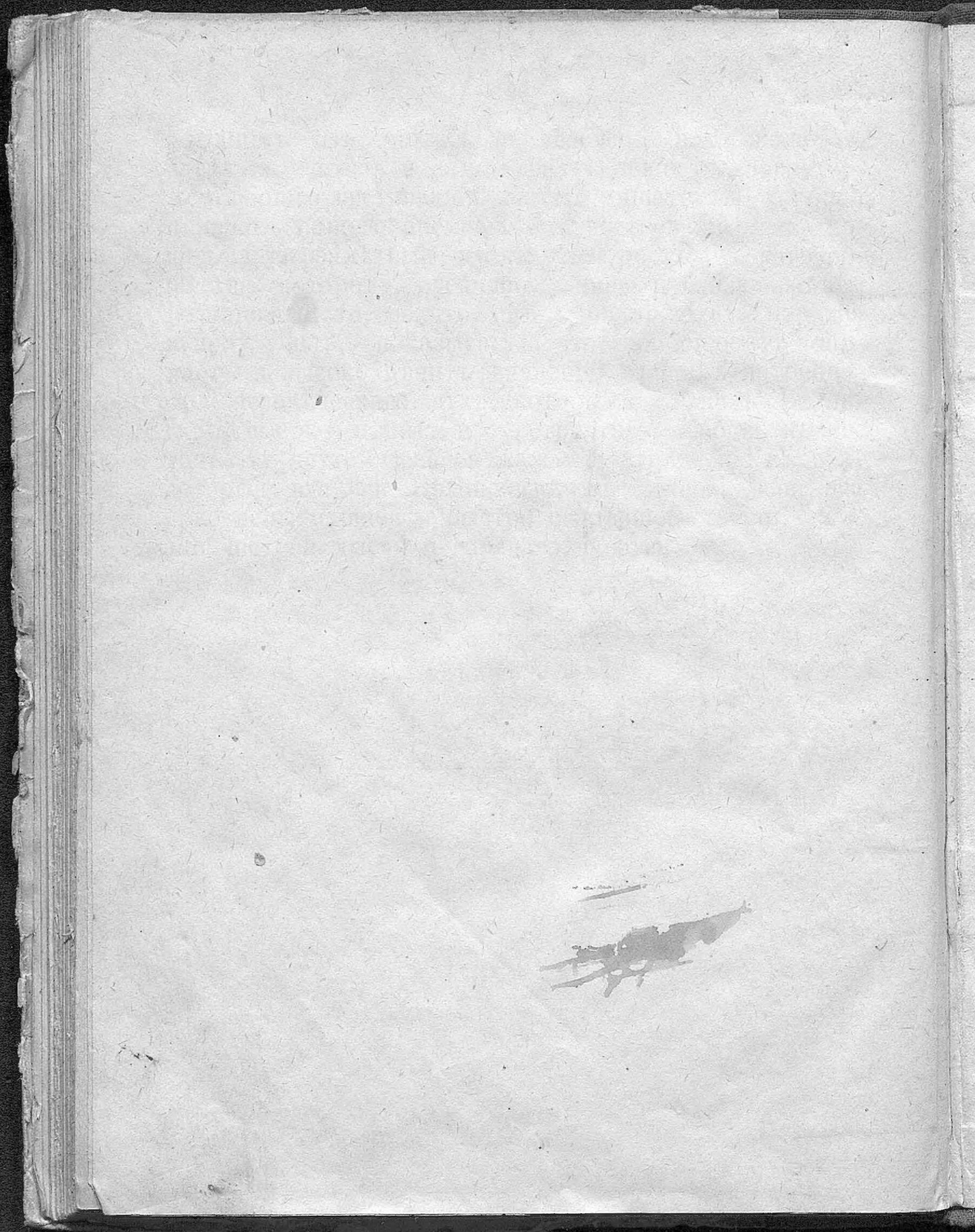
ДЛЯ ПОДАРОКОВЪ

РАССОЛНУЯ

ВЪ КНИЖНИЦАХЪ







OC. of

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ

Е. Воскресенскимъ.

1. Языкъ важнѣйшихъ произведеній русской словесности XI—XIX вв. Изд. 2-е Ц. 70 к. Рекомендовано Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для библиотекъ среднихъ учеб. заведеній.

2. Теорія словесности. Одобрено Уч. Ком. Мин. Нар. Просв., какъ учебное руководство для гимназій. Изд. 3-е. Ц. 60 к.

3. Логика. Руководство для гимназій—въ связи съ теоріей словесности. Ц. 35 к.

4. «Борисъ Годуновъ» А. С. Пушкина. Разборъ трагедіи. Изд. 3-е. Ц. 60 к. Одобрено Учен. Ком. Мин. Нар. Пр., какъ учебное пособіе для гимназій.

5. «Полтава» А. С. Пушкина. Разборъ поэмы. Изд. 2-е. Ц. 30 к. Одобрено Учен. Ком., какъ учебное пособіе для гимназій.

6. «Евгеній Онѣгинъ» А. С. Пушкина. Разборъ романа. Изд. 2-е. Ц. 45 к.

7. «Лирика Пушкина». Ц. 30 к. | Учебныя

8. «Повѣсти Пушкина». Ц. 50 к. | пособія.

9. «Кавказъ по слов. Пушкина и Лермонтова». Одобрено Уч. Ком. для библиотекъ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній. Изд. 3-е. Ц. 15 к.

10. Сборникъ періодовъ (съ краткой теоріей періодической рѣчи). Ц. 25 к.

11. Темы и вопросы для письменныхъ упражненій о русскому языку и литературныхъ бесѣдъ. Ц. 30 к.

12. Литературныя чтенія. Пушкинъ. Гоголь. Бѣльскій. М. 1901 г. Ц. 45 коп.

13. Замѣтки о преподаваніи русскаго языка въ начальной школѣ. М. 1901 г.